

**ДЖЕРОМ
КЛАПКА
ДЖЕРОМ**

МОЕ ЗНАКОМСТВО С
БУЛЬДОГАМИ (СБОРНИК)

Джером Клапка Джером Мое знакомство с бульдогами (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19385303

Джером, Клапка Джером. Мое знакомство с бульдогами:

Издательство «Э»; Москва; 2016

ISBN 978-5-699-89856-5

Аннотация

На родине его называли «бестактным пошляком», а «Трое в лодке, не считая собаки» – «шедевром вагонной литературы». Но читатели восторженно приняли прозу Джерома К. Джерома, блестящего рассказчика с искрометным чувством юмора.

Содержание

О суете и тщеславии	5
Мое знакомство с бульдогами	18
Трогательная история	33
Человек, который заботился обо всех	50
Рассеянный человек	62
Очаровательная женщина	72
Пирушка с привидениями	81
Введение	81
Как рассказывались эти истории	90
Рассказ Тедди Биффлса	97
Джонсон и Эмилия, или Преданный дух	97
История, рассказанная доктором	103
Загадочная мельница, или Развалины счастья	104
История, рассказанная священником	109
Призрак голубой спальни	111
Мои личные комментарии	116
Моя собственная история	119

Джером К. Джером

Мое знакомство с бульдогами

© Колпакчи М., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО
«Издательство «Э», 2016

В оформлении обложки использованы репродукция картины «Мопс в кресле» (1857) художника Альфреда де Дрё (1810–1860) и иллюстрации: Yayaoyo / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com; WilleeCole, derGriza / Istockphoto / Thinkstock / Gettyimages.ru

О суете и тщеславии

Все суета, все люди суетны и тщеславны. Ужасно тщеславны женщины. Мужчины – тоже, даже больше, если это возможно. Тщеславны и дети. Да, да, дети особенно тщеславны.

В эту самую минуту одна маленькая девочка изо всех сил колотит меня по ногам. Она хочет знать мое мнение о ее новых туфельках. Говоря чистосердечно, я от них не в восторге. Им недостает симметрии, изящества, они на редкость неуклюжи (кроме того, мне кажется, что на правую ножку ей надели левую туфельку и наоборот).

Но обо всем этом я умалчиваю. Она ждет от меня не критики, а лести, и вот я начинаю расхваливать ее обновку с прямо-таки унижительным многословием. Иначе этот избалованный ангелочек не успокоится.

Однажды я попробовал поговорить с ней искренно, напрямик, но попытка кончилась провалом. Ее заинтересовало, что я вообще думаю о ней и о ее поведении. Вопрос был поставлен следующим образом:

– Я холосая девоцка, дядя? Ты меня любис?

Я счел это подходящим случаем, чтобы сделать несколько назидательных замечаний по поводу ее нравственных достижений последнего времени, и сказал, что я ею недоволен. Я напомнил ей события, которые произошли не далее как этим утром, и предоставил ей самой решить, может ли мне, доб-

рому, но рассудительному дяде, нравиться девочка, которая в пять часов подняла на ноги весь дом, в семь часов опрокинула кувшин с водой и сама покатила след за ним по лестнице, в восемь часов сунула кошку в ванну, а в девять часов тридцать пять минут уселась на шляпу своего родного отца.

Как, по-вашему, она ответила мне? Поблагодарила меня за откровенность? Задумалась над моими словами, решив отныне запечатлеть их в своем сердце и вести более достойный и благородный образ жизни?

Ничего подобного, – она разревелась.

Более того, она перешла в наступление:

– Злой дядя, бяка, гадкий! Скажу на тебя маме!

И она в самом деле пожаловалась своей маме.

С тех пор, когда она интересуется моим мнением, я не выдаю своих истинных чувств, предпочитая выражать безграничное восхищение всеми поступками этой молодой особы, какой бы оценки они ни заслуживали. Тогда она одобрительно кивает головой и семенит прочь, чтобы похвастать моим отзывом о ней перед всеми остальными членами семьи.

По-видимому, этот отзыв служит ей юридическим основанием для корыстных притязаний; по крайней мере, до меня неоднократно доносились заявления вроде:

– Дядя сказал, я холосая девоцка, мне надо два пеценья.

И вот она расхаживает, восторженно разглядывая носки своих туфель и бормоча, что они «холосенькие». Посмотрите на нее – всего два фута и десять дюймов, а сколько в ней

тщеславия и чванства, не говоря об остальных недостатках!

Все дети на один лад. Помню, как однажды, в солнечный день, я сидел в лондонском пригороде, в садике возле дома. Вдруг откуда-то сверху, из соседнего дома, до меня донесся пронзительный, пискливый голосок. Обращаясь к какому-то невидимому существу, находившемуся где-то поблизости, голосок утверждал:

– Бабушка, смотри, какой я хорошенький! Я надел штаны Боба, слышишь, бабушка!

Да что люди! Животные – и те тщеславны. На днях я видел большого ньюфаундлендского пса. Он сидел перед зеркалом у входа в магазин на Риджент-сэркус и разглядывал себя с таким блаженным самодовольством, какое мне случилось наблюдать только на собраниях приходского совета.

Однажды я присутствовал на сельском празднике. Не помню, по какому случаю происходило это торжество. Был не то праздник весны, не то день уплаты земельной ренты. Всюду пестрели цветы, и даже голову одной из коров украсили пышным венком. Нелепое четвероногое целый день разгуливало с необычайно важным видом, будто школьница, нарядившаяся в новое платье. А когда венок сняли, у коровы испортилось настроение, и, чтобы она успокоилась и позволила себя доить, пришлось его снова надеть ей на рога. Это не анекдот, а достоверный факт.

Что касается кошек, то тщеславия у них почти столько же, сколько у любого представителя рода человеческого. Я

знал кошку, которая при первом же язвительном замечании по адресу ее родичей подымалась с места и с оскорбленным видом покидала комнату. Зато после цепкого комплимента всякая кошка способна мурлыкать от удовольствия чуть не целый час.

Я большой любитель кошек. Они уморительны, сами того не сознавая. Как забавно выражается в них чувство собственного достоинства. Всем своим видом они как будто говорят: «Как вы смеете! Отойдите! Не прикасайтесь ко мне!»

Вот собаки, те ничуть не надменны. Каждого встречного и поперечного приветствуют они запанибрата: «Здорово, дружище! Рад тебя видеть!»

Когда я встречаю знакомого пса, я хлопаю его по голове, наделяю разными малоприятными прозвищами, опрокидываю на спину, и вот он лежит, широко раскрыв пасть, и вовсе не думает сердиться.

Но попробуйте так обращаться с кошкой! Да после этого она и словом не перемолвится с вами до конца вашей жизни! Нет, если вы хотите заручиться расположением какой-нибудь кошечки, извольте помнить, с кем вы имеете дело, и ведите себя осмотрительно. Если вы с ней встречаетесь впервые, то советую вам прежде всего сказать: «Бедная кисонька». А потом полезно добавить: «Кто тебя обидел?» И чтобы в тоне слышались ласка и сочувствие. Пусть даже вы сами понятия не имеете, обидел ее кто-нибудь или нет, но если ваши слова прозвучат достаточно искренно, она может

проникнуться к вам доверием. А если к тому же у вас хорошие манеры и сносная наружность, она, выгнув дугой спину, начнет тереться о вас мордочкой. При подобных обстоятельствах вы можете осмелиться почесать ей шейку или пощекотать за ухом, и тогда в знак особой дружбы и любви это чуткое существо запустит вам когти в руку или ногу.

Точь-в-точь как в детском стишке:

Не трогаю хвостик у кошки моей:
Боюсь ее крепких и острых когтей;
Но если ее повкусней накормлю,
Без страха ласкаю я кошку мою.

Последние две строчки дают нам довольно точное представление о том, как кошки понимают человеческую доброту. Совершенно очевидно, что, по мнению кошки, добрый человек должен ласкать ее, гладить и получше кормить. Боюсь только, что столь узкая мерка для определения добродетели свойственна не одним кошкам. Все мы склонны руководствоваться этой же меркой, определяя достоинства и недостатки ближних. Хорош тот, кто хорошо относится к нам, и плох тот, кто не делает для нас всего, что нам хочется. Воистину, каждому из нас присуще убеждение, будто все мироздание, со всем, что в нем обретается, создано лишь как необходимый привесок к нам самим. Окружающие нас мужчины и женщины рождены на свет только для того, чтобы восторгаться нами и откликаться на наши разнообразные

требования и нужды.

И вы, дорогой читатель, и я – мы оба являемся в собственных глазах центром вселенной. Вы, как я себе представляю, были созданы предусмотрительным Провидением, чтобы обеспечить меня читателями, между тем как я – с вашей точки зрения – являюсь предметом, посланным в мир с единственной целью сочинять книги, которые вы могли бы читать. Звезды – так мы называем мириады других миров, несущихся мимо нас в вечном безмолвии, – существуют лишь для того, чтобы небо по ночам казалось нам более таинственным. А грустная и загадочная луна, постоянно прячущая свое чело в облака, является всего-навсего поэтической декорацией для любовных сцен.

Боюсь, что большинство из нас рассуждает, как бентамский петух миссис Пойзер, который воображал, что солнце всходит каждое утро единственно для того, чтобы послушать, как он кукарекает. «Тщеславие вращает шар земной». Я не верю, чтобы со дня Сотворения мира существовал человек, лишенный тщеславия, а если бы такой где-нибудь и нашелся, – каким бы он был неудобным членом общества! Он был бы, конечно, очень хорошим человеком, заслуживающим всяческого уважения. Он был бы удивительным человеком, достойным стоять под стеклянным колпаком для всеобщего обозрения или на пьедестале как образец для всеобщего подражания. Одним словом, он был бы человеком, перед которым все благоговееет, но отнюдь не таким, которого

любят, как родного брата, и – чью руку хочется сердечно пожать.

Ангелы – в своем роде превосходные существа, но мы, бедные смертные, таковы, что их общество показалось бы нам невыносимо скучным. Просто хорошие люди и то действуют несколько угнетающе на всех окружающих. Ведь именно в наших промахах и недостатках, а не в наших добродетелях мы находим точки сближения и источники взаимопонимания. Значительно отличаясь один от другого присущими нам положительными качествами, мы как две капли воды похожи друг на друга своими теньевыми сторонами. Некоторые из нас благочестивы, другие щедры. Некоторые относительно честны, и совсем немногие могут быть условно названы правдивыми. Но что касается тщеславия и тому подобных человеческих слабостей, то все мы вылеплены из одного теста.

Тщеславие – вот дарованная природой черта, которая роднит весь мир. Охотник-индеец гордится поясом, увешанным скальпами, а европейский генерал пыжится от спеси, выставляя напоказ свои звезды и медали. Китаец любовно отращивает косичку, а светская кокетка ценой невыносимых мучений затягивает талию в рюмочку. Маленькая замарашка Полли Стиггинс с важностью прохаживается по Севен-дай-элсу с рваным зонтиком над головой, а княгиня скользит по гостинной, волоча за собой шлейф в четыре ярда. Какой-нибудь Арри из Ист-Энда радуется, когда своими гру-

быми прибаутками заставляя приятелей надрывать животики от смеха, а государственный деятель наслаждается возгласами одобрения, которые раздаются после его возвышенных тирад. Чернокожий африканец меняет драгоценные пахучие масла и слоновую кость на стеклянные бусы, а девушка-христианка продает себя, свое белоснежное тело за десяток блестящих камушков и никчемный титул, который она присоединяет к своей фамилии. Все, все они двигаются, сражаются, истекают кровью и умирают под мишурным знаменем тщеславия.

Как это ни печально, но тщеславие – вот истинная сила, движущая колесницу человечества, и не что иное, как лезвие, смазывает бегущие колеса.

Если вы хотите завоевать любовь и уважение в этом мире – льстите людям. Льстите высшим и низшим, богатым и бедным, глупым и умным, и тогда у вас все пойдет как по маслу. Хвалите у одного человека добродетели, у другого – пороки. Восхваляйте каждого за все качества, какие у него есть, но в особенности за те, которых у него нет и в помине. Восторгайтесь красотой уродца, остроумием дурака, воспитанностью грубияна, и вас будут превозносить до небес за светлый ум и тонкий вкус.

Лестью можно покорить всех без исключения. Даже препоясанный граф... – кажется, есть такое звание «препоясанный граф». Я не совсем понимаю, что оно обозначает, если только оно не относится к графу, который вместо подтяжек

носит пояс. Так делают некоторые мужчины, но мне лично это не нравится, потому что пояс только тогда имеет смысл, когда он туго затянут, а это не очень приятно.

Во всяком случае, кто бы он ни был, этот «препоясанный граф», я утверждаю, что и его можно приручить лестью, точно так же, как любого человека, от герцогини до продавца мясных обрезков, от пахаря до поэта. При этом поэта подкупить лестью, пожалуй, даже легче, чем крестьянина: ведь масло лучше впитывается в городской пшеничный хлеб, чем в овсяную лепешку.

Что касается любви, то без лести она просто невысказана. Бесперывно накачивайте человека самообожанием, и то, что перельется через край, достанется на вашу долю, – утверждает один остроумный и наблюдательный французский писатель, имени которого я, хоть убейте, не могу вспомнить. (Проклятье! именно когда мне нужно вспомнить какое-нибудь имя, оно никогда не приходит на память!)

Скажите любимой девушке, что она – настоящий ангел, более настоящий, чем любой ангел в раю; что она – богиня, но только более изящная, величественная и божественная, чем обыкновенная богиня; что она больше напоминает фею, чем сама Титания, что она красивее Венеры, обольстительнее Парфенопеи, короче говоря, более достойна любви, более привлекательна и блистательна, чем любая другая женщина, которая когда-либо жила, живет или будет жить на этом свете, – и этим вы произведете самое благоприятное

впечатление на ее доверчивое сердечко. Милая, наивная девушка! Она поверит каждому вашему слову. Нет ничего легче, чем обмануть женщину... этим путем.

Нежные, скромные души, они ненавидят лесть – так они заявляют вам, а вы должны ответить: «Ах, сокровище мое, разве я стал бы тебе льстить? Ведь по отношению к тебе это очевидная и неприкрашенная истина. Ты в самом деле и без всякого преувеличения самое прекрасное, самое доброе, самое очаровательное, самое божественное, самое совершенное существо, которое когда-либо ступало по нашей грешной Земле». И тогда каждая из них одобрительно улыбнется, прильнет к вашему мужественному плечу и пролепечет, что вы, в общем, славный малый.

Теперь представьте себе человека, который, объясняясь в любви, принципиально ни на шаг не отступает от правды, не говорит ни одного комплимента, не позволяет себе никакого преувеличения и щепетильно придерживается фактов. Представьте себе, что он восхищенно смотрит в глаза своей возлюбленной и тихо шепчет ей, что она далеко не безобразна, не хуже многих других девушек. Представьте себе дальше, как он, разглядывая ее маленькую ручку, приговаривает, что она какого-то буроватого цвета и покрыта красными жилками. Прижимая девушку к своему сердцу, он объясняет ей, что носик у нее хотя и пуговкой, но симпатичный, и что ее глаза – насколько он может судить – кажутся ему соответствующими среднему стандарту, установленному для орга-

нов зрения.

Может ли подобный поклонник выдержать сравнение с человеком, который скажет той же девушке, что лицо ее подобно только что распустившейся пунцовой розе, что волосы ее сотканы из залетного солнечного луча, что он пленен ее улыбкой и что глаза ее – две вечерних звезды.

Есть много разных способов льстить, и, конечно, надо умеючи пользоваться ими, в зависимости от лица, с которым вы имеете дело. Встречаются люди, которые любят, чтобы им льстили грубо, напрямик, – это не требует большого искусства. С умными людьми, наоборот, надо соблюдать деликатность и обходиться намеками, не произнося льстивых слов. Многим нравится лесть, поданная как оскорбление, например: «Послушай, нельзя же быть таким непроходимым дураком. Ведь ты способен отдать последние шесть пенсов любому голодному нищему!»

Некоторые проглатывают лесть, только если она преподносится им через третье лицо. Если, например, В. желает подъехать путем лесты к А., он должен сообщить по секрету Б., близкому другу А., что он, В., считает А. светлой личностью, но только пусть Б., бога ради, не проговорится об этом никому, а в особенности А. При этом надо очень тщательно выбрать этого Б., а то он еще вздумает вообще не передать А. то, что требуется.

Очень легко водить за нос наших хваленых стойких Джон-ов Булей, которые постоянно твердят: «Я ненавижу лесть,

сэр» или «меня лестью никто не проведет» – и так далее и тому подобное. Льстите им без удержу, уверяя, что они совершенно лишены тщеславия, и вы сможете сделать с ними все что захотите.

И все-таки тщеславие – в такой же степени добродетель, как и порок. Нет ничего легче, чем повторять азбучные истины о греховности тщеславия, но нельзя забывать, что это страсть, которая может увлечь нас не только к дурной, но и к хорошей цели. Всякое честолюбие – не что иное, как облагороженное тщеславие. Нам хочется снискать похвалу и восхищение, – как мы говорим – славу, и вот мы пишем умные книги, рисуем красивые картины, поем трогательные песни и вдохновенно работаем за письменным столом, у станка или в лаборатории.

Мы стремимся к богатству вовсе не для того, чтобы создать себе удобства и уют. Эти блага могут быть в полном объеме приобретены каждым за двести фунтов стерлингов в год. Нет, мы хотим, чтобы наши особняки были больше и обстановка в них богаче, чем у наших соседей. И чтобы у нас было больше лошадей и прислуги, чем у них. Чтобы мы могли одевать наших жен и дочерей в нелепые, но дорогие наряды. Чтобы мы могли устраивать дорогостоящие званные обеды, за которыми нам лично перепадет еды разве что на шиллинг. Но, чтобы достичь всего этого, мы отдаем свой ум и свое время работе, имеющей всеобщее значение, развиваем торговлю с разными народами, содействуем продвиже-

нию цивилизации в самые отдаленные уголки земного шара.

Вот почему не стоит огульно осуждать тщеславие. Лучше употребить его на благо общества. Ведь и честь – не что иное, как высшая форма тщеславия. Не только у франтов и щеголих встречаем мы инстинкт самолюбования. Есть тщеславие павлина и есть тщеславие орла. Снобы тщеславны. Но ведь тщеславны и герои.

Придите ко мне, мои друзья и однокашники, объединимся в нашем общем стремлении к тщеславию. Пойдем вперед сомкнутыми рядами и будем помогать друг другу растить свое тщеславие.

Но будем хвалиться не модными брюками и прическами, а честными сердцами, умелыми руками, правдивостью, нравственной чистотой и благородством.

Будем настолько тщеславны, чтобы никогда не унизиться до мелкого, подлого поступка. Настолько тщеславны, чтобы вытравить в себе мещанский эгоизм и тупую зависть. Настолько тщеславны, чтобы никогда не произнести жестокого слова, никогда не совершить жестокого поступка. Пусть гордится каждый, кто сохранит стойкость и прямоту благородного человека даже в окружении негодяев. И да заслужим мы право гордиться чистыми мыслями, великими свершениями и жизнью, полной высокого смысла!

Мое знакомство с бульдогами

Что за великолепный пес наш английский бульдог! Как он свиреп, молчалив, неумолим и страшен, когда стоит на страже интересов своего хозяина, и как безропотен и кроток, когда дело касается лично его.

Нет на свете собаки нежнее и ласковее бульдога. Но на вид этого не скажешь. Мягкость его нрава отнюдь не бросается в глаза случайному наблюдателю. Бульдог напоминает того джентльмена, о котором говорится в популярном стишке:

Он парень что надо, но не с первого взгляда:
Сначала понять, раскусить его надо!

В первый раз я встретился с бульдогом, так сказать, лицом к лицу много лет тому назад. В ту пору я жил на даче вместе с одним из моих друзей, одиноким молодым человеком, которого звали Джорджем. Однажды вечером мы пошли смотреть туманные картины и вернулись домой поздно, когда хозяйева уже спали. Правда, они не забыли оставить в нашей комнате зажженную свечу. Мы прошли к себе, сели и стали снимать ботинки.

И тут только мы заметили, что на коврике перед камином лежит бульдог. Собаки с более сосредоточенно-свирепой физиономией и с сердцем, более чуждым, как мне по-

казалось, всем возвышенным и утонченным побуждениям, я еще ни разу не видел.

Как правильно заметил Джордж, бульдог этот был скорее похож на языческого идола, чем на жизнерадостную английскую собаку.

Бульдог, должно быть, поджидал нас. Он встал, приветствовал нас зловещей усмешкой и занял позицию между дверью и нами.

Мы улыбнулись ему вымученной, заискивающей улыбкой.

– Ты добрый песик, ты славный, хороший песик, – сказали мы ему и закончили вопросом, допускавшим только утвердительный ответ: – Ты ведь хороший песик?

На самом деле мы этого не думали. У нас сложилось особое мнение о нем, и оно было явно отрицательным. Но мы не выражали его вслух. Ни за что на свете не хотели бы мы обидеть пса. Он пришел к нам с визитом, был, так сказать, нашим гостем, и мы, как благовоспитанные молодые люди, понимали, что не имеем права даже намеком проявить неудовольствие по поводу его посещения. Нашей задачей было по возможности смягчить щекотливость его положения.

Мне кажется, что нам удалось уговорить его не стесняться. Во всяком случае, он чувствовал себя как дома, чего мы не могли сказать о себе. Не обратив ни малейшего внимания на все наши любезности, он сразу заинтересовался Джорджем, особенно его ногами.

Джордж, помнится, очень гордился своими ногами. Сам я не видел в них ничего такого, что могло бы оправдать тщеславие Джорджа, мне они всегда казались достаточно неуклюжими. Но справедливость требует признать, что именно они обворовали бульдога. Он приблизился к Джорджу и стал рассматривать их с видом исстрадавшегося знатока, нашедшего наконец свой идеал. Закончив предварительный осмотр, он недвусмысленно улыбнулся.

Джордж в те времена был еще скромн и застенчив. Он зарделся и задрал ноги на кресло, а заметив, что бульдог не скрывает своего намерения полезть вслед за ними, перебрался на стол, где и уселся на корточки, охватив коленки руками. Потерпев неудачу с ногами Джорджа, пес, видимо, собрался утешиться моими. Но я тоже полез на стол, присоединившись к Джорджу.

Сидеть в течение долгого времени, согнув колени, на шатком одноногом столике не ахти как удобно, особенно с непривычки, и мы оба сильно затосковали. Будить криками о помощи всю семью наших хозяев нам не хотелось. У нас была своя гордость, и мы опасались, что зрелище, которое мы собой представляли, сидя на столе, покажется этим малознакомым людям не слишком внушительным.

В таком положении мы молча просидели около получаса, все время чувствуя на себе укоризненный взгляд бульдога, устроившегося на соседнем кресле. Чуть только кто-нибудь из нас делал движение, как бы желая спуститься со стола, его

взгляд загорался простодушным восторгом.

Через полчаса мы принялись обсуждать, не целесообразно ли рискнуть и перейти в наступление, но решили воздержаться.

– Никогда не следует, – сказал Джордж, – смешивать безрассудство с храбростью. Храбрость, – продолжал он (у Джорджа был дар говорить афоризмами), – есть мудрость зрелого возраста, а безрассудство – порок юности.

Он сказал, что, пока этот пес в комнате, спустить ноги со стола – значит наглядно доказать наше безрассудство. В итоге мы обуздали себя и остались сидеть на столе.

Прошло еще около часа, после чего нам до такой степени опротивела жизнь и наскучил голос мудрости, что мы пошли на риск и, набросив на подкарауливавшего нас убийцу ска-терть, успели выскочить за дверь.

Утром мы пожаловались нашей хозяйке, заявив, что нельзя же оставлять в жилых помещениях свирепых хищников, и изложили ей вкратце, хоть и не совсем точно, что произошло.

Вместо чуткого женского сочувствия, которого мы вправе были ожидать, старушка опустила в кресло и залилась смехом.

– Как! – воскликнула она. – Неужели вы испугались старичка Бузера! Да ведь он мухи не обидит! У него не осталось ни одного зуба, у бедняжки. Мы его с ложечки кормим. Посмотрели бы вы, как кошка гоняет его с места на место;

жизнь уже стала ему в тягость. А к вам он, наверное, пришел приласкаться: привык, что все его жалеют.

Вот каким было чудовище, заставившее нас в холодную ночь просидеть полтора часа на столе без ботинок.

Еще мне вспоминается встреча с бульдогом моего дяди. Дядя получил от одного из своих приятелей совсем молодого бульдога – великолепную собаку, но с незаконченным образованием, как сказал этот приятель. Других недостатков у бульдога не было. Мой дядя отнюдь не считал себя специалистом по части дрессировки бульдогов, но ему казалось, что это дело несложное, и потому он, поблагодарив друга, потащил подарок домой на веревке.

– И ты хочешь заставить нас жить в одном доме с этим ублюдком? – с негодованием воскликнула моя тетушка, явившись в дядин кабинет через час после прибытия бульдога.

Четвероногий герой дня выступал за ней следом, и весь вид его говорил об идиотском самодовольстве.

– В чем дело? – удивленно воскликнул мой дядя. – Ведь это первоклассный пес. В прошлом году его отец заслужил одобрение на выставке в «Аквариуме».

– Ах, так! Могу сообщить тебе, что сын этого отца стал на путь, который вряд ли заслужит ему одобрение со стороны соседей, – с горечью возразила тетушка. – Если тебе угодно знать, он только что расправился с котом бедной миссис Мак-Слэнгер! Нам еще предстоит выдержать хорошенький

скандалчик.

– Нельзя ли как-нибудь замять эту историю? – сказал мой дядя.

– Замять! – повторила тетушка. – Если б ты присутствовал при их сражении, то не сидел бы здесь, рассуждая, как дурак. Послушайся моего совета, – прибавила она, – возьми поскорее за его дрессировку... или как это называется, что делают с собаками, – пока на его совести нет человеческих жертв.

В ближайшие дни дяде было некогда заняться песиком, и единственное, что оставалось делать, это держать его взаперти, строго следя, чтобы он не выбрался из дому.

Ну и хлопот же он нам наделал! Не то чтобы у этого животного было злое сердце. Нет, намерения его были превосходны: он старался выполнять свой долг. Плохо то, что в своем усердии он заходил слишком далеко и при этом руководствовался преувеличенным, и даже в корне ошибочным, представлением о своих обязанностях и своей ответственности. Он, очевидно, был убежден, что его держат здесь для того, чтобы он не позволил ни одной живой душе приблизиться к дому. А если кому-нибудь все же удалось проскользнуть в дом, то выпустить такого человека на улицу нельзя ни под каким видом.

Мы старались внушить ему более скромный взгляд на его роль в жизни нашей семьи, но безуспешно. Составив собственное представление о цели своего земного бытия,

он проводил свои убеждения в жизнь с излишним, на наш взгляд, рвением.

Ему удалось нагнать такого страха на наших поставщиков, что они под конец перестали заходить в палисадник. Они не отказывались приносить нам продукты, но бросали их через изгородь в сад, не открывая калитку, а мы уже, по мере необходимости, подбирали то, что было нужно.

– Ступай в сад и погляди, – говорила мне, бывало, тетушка, у которой я тогда гостил, – нет ли там сахара. Мне кажется, я видела несколько пачек под большим розовым кустом. Если нет, зайди в магазин Джонса и попроси, чтобы принесли несколько фунтов.

А на вопрос кухарки о том, что приготовить к завтраку, тетя отвечала:

– Право, Джен, я не знаю, что у нас есть. Может, в палисаднике найдутся отбивные котлеты, а если нет, то на лужайке я как будто заметила кусок говядины для бифштексов.

На другой день после обеда к нам пришли водопроводчики, чтобы исправить какой-то пустяк в кухонном кипяильнике. Бульдог, увлеченный в это время изгнанием почтальона за пределы палисадника, не заметил, как они прошли на кухню с черного хода. Вернувшись и застав их уже за работой, он едва не лишился чувств и, по-видимому, горько раскаялся в своей оплошности. Но ничего не поделаешь, они были уже тут, и единственное, что ему оставалось, это проследить, чтобы они никуда не скрылись.

Водопроводчиков было трое (чтобы выполнить подобного рода работу, всегда нужны три человека. Первый приходит сообщить, что скоро придет второй. Второй является и говорит, что ему некогда, а третий идет вслед за вторым, спрашивая, не приходил ли первый), и наш преданный бессловесный страж продержал их в кухне (подумайте только, держать водопроводчиков в доме дольше, чем это до зарезу необходимо) целых пять часов, пока не вернулся дядя! И счет гласил: за работу по ремонту крана, производившуюся мастером и двумя рабочими в течение шести часов, следует восемнадцать шиллингов, расход на материал – два пенса, итого восемнадцать шиллингов два пенса.

К нашей кухарке бульдог почувствовал неприязнь с первого взгляда. Мы его за это не осуждали. Она была сварливой старухой, и мы сами ее недолюбливали. Но когда дошло до того, что он перестал пускать ее в кухню и она не могла выполнять свои обязанности, в результате чего дядя с тетей должны были стряпать обед сами с помощью горничной – девушки усердной, но совершенно неопытной, – мы почувствовали, что такое отношение к нашей кухарке равносильно травле.

Мой дядя решил, что дольше пренебрегать дрессировкой бульдога нельзя. Сосед, живший через дом от нас, всегда говорил о себе как о большом знатоке спорта, и вот к нему-то и направился мой дядя, чтобы посоветоваться, как взяться за дело.

– О, – беззаботно сказал сосед, – выдрессировать бульдога – нехитрая штука. Потребуется немного терпения, вот и все.

– Это меня не пугает, – ответил дядя. – Нам и сейчас надо немало терпения, чтобы жить с ним под одной крышей. С чего начинают дрессировку?

– Что ж, я научу вас, – сказал сосед. – Вы ведете его в комнату, где меньше мебели, закрываете за собой дверь и запираете ее на задвижку.

– Понимаю, – кивнул головой мой дядя.

– Оставляете его в центре комнаты на полу, а сами становитесь перед ним на колени и начинаете его дразнить.

– Ах, вот как!

– Да, и раздражаете его, пока он не озверевает от ярости.

– Насколько я знаю свою собаку, на это не потребуется много времени, – задумчиво заметил дядя.

– Тем лучше. Как только он озверевает, он кинется на вас.

Дядя согласился, что это вполне правдоподобно.

– Он захочет впиться вам в горло, – продолжал сосед. – И тут вам надо быть начеку. Не раньше чем он прыгнет, но до того, как он повиснет на вас, вы должны нанести ему прямой удар по носу и сделать ему нокаут.

– Так-так-так! Я начинаю вас понимать.

– Вот-вот, но помните: как только вы его собьете с ног, он вскочит и снова бросится на вас, и вы должны опять швырнуть его на пол. И продолжать нокаутировать до тех пор, пока он не выбьется из сил и не покорится. Добейтесь этого

только один раз, и дело сделано. Впредь он будет ласков, как ягненок.

– Так, – сказал дядя, вставая со стула. – И вы полагаете, что это хороший способ?

– Безусловно, – ответил сосед, – он всегда приносит успех.

– Не сомневаюсь, – ответил дядя. – Мне только пришло в голову, почему бы вам, имеющему сноровку в подобных вещах, *самому* не зайти к нам и не попробовать свои силы? Мы можем предоставить вам отдельную комнату, и я позабочусь, чтобы вам не мешали.

– И если, – продолжал мой дядя с сердечной заботливостью, столь характерной для его отношения к окружающим, – если, вопреки ожиданиям, вы не сумеете в критический момент стукнуть собаку по носу или если *вы* выбьетесь из сил раньше, чем бульдог, – что ж, я с удовольствием возьму на свой счет все похоронные издержки. Надеюсь, вы знаете меня достаточно хорошо и не сомневаетесь, что вся церемония будет обставлена красиво и с должным вкусом.

И мой дядя удалился.

Затем мы посоветовались с нашим мясником. Тот согласился, что метод нокаута никуда не годится, в особенности когда применять его рекомендуют пожилому семейному человеку, страдающему одышкой. Вместо этого мясник предложил моему дяде как можно больше гулять с бульдогом, неусыпно следя за каждым его шагом.

– Достаньте хорошую длинную цепь, – сказал он, – и дайте

ему каждый вечер как следует пробежаться. Не отпускайте от себя ни на шаг. Заставьте его слушаться и возвращайтесь домой лишь после того, как он устанет до полусмерти. Делайте это, не пропуская ни одного дня, месяца два подряд, и он станет смиренным, как дитя.

– Кажется, при таком способе не столько я буду его натаскивать, сколько он таскать меня за собой, – пробормотал мой дядя и, поблагодарив мясника, вышел из лавки. – Придется все-таки взяться за дело. И зачем я связался с этой проклятой собакой!

И каждый вечер со священной пунктуальностью дядя прикреплял длинную цепь к ошейнику несчастного пса и вытаскивал его из домашнего уюта, чтобы утомить до изнеможения. Но бульдог возвращался домой свеженький, как огурчик, а дядя плелся за ним, еле дыша, и шумно требовал рюмку виски.

Дядя, оказывается, не представлял себе, что в прозаическом девятнадцатом веке могут происходить такие волнующие события, какие он испытал, пока дрессировал бульдога.

О, как безудержна азартная скачка вперегонки с ветром по пустырю, когда бульдог охотится за ласточкой, а дядя, не имея сил удержать его, летит следом, держась за другой конец цепи!

О, как веселы шалости на лугах, когда бульдог стремится вцепиться в корову, а корова – забодать бульдога, и они, нападая и увертываясь, кружат вокруг моего дяди!

И как приятно беседовать с пожилыми дамами, когда бульдог, опутав их ноги цепью, опрокидывает их на землю, и мой дядя усаживается рядом на дорогу, распутывает цепь и помогает им встать!

Но однажды в субботу наконец наступает кризис. Бульдог, как всегда, выводит моего дядю на прогулку. На дороге играют нервные дети. Они видят собаку, кричат и разбегаются. Шаловливый молодой бульдог принимает это за игру, вырывает цепь из рук дяди и летит за детьми. Дядя летит за бульдогом, отчаянно ругая его. Нежный папаша стоит в палисаднике и видит, что свирепая собака гонится за его обожаемыми детьми, и, заметив беспечного хозяина собаки, летит вслед за дядей, отчаянно ругая его. Все население выбегает на улицу. Раздаются возгласы: «Позор!» В собаку швыряют чем попало. Что не попадает в собаку, попадает в дядю, что не попадает в дядю, летит в нежного папашу. Вперед, через весь поселок, вверх на горку, через мост, кругом по лужайке обратно – хороший круг: полторы мили без передышки! Дети падают в изнеможении, бульдог резвится около них, у детей истерика, нежный папаша и мой дядя, вконец запыхавшись, подбегают.

– Почему вы не подозвали к себе собаку? Нельзя же быть таким злыднем на старости лет!

– Я забыл, как ее зовут, понимаете? Нельзя же быть таким дураком на старости лет!

Нежный папаша вопит, что дядя науськал собаку на детей,

дядя в негодовании оскорбляет папашу, разъяренный папаша атакует дядю. Дядя защищается зонтиком. Преданный бульдог приходит на помощь и наносит нежному папаше существенный урон. Появляется полиция. Бульдог атакует полицию. Дядя и папаша арестованы. Дядя оштрафован: пять фунтов стерлингов и издержки – за вырвавшуюся на волю свирепую собаку. С дяди берут еще один штраф: пять фунтов стерлингов и издержки – за оскорбление нежного папашаши. На дядю накладывают третий штраф: пять фунтов стерлингов и издержки – за оскорбление полиции.

Вскоре после этого мой дядя расстался с бульдогом. Но он не отдал его первому встречному. Он преподнес его в качестве свадебного подарка одному из своих ближайших родственников.

Однако самую печальную историю из всех, какие я слышал в связи с бульдогами, рассказала мне моя тетушка, и произошла она с ней самой.

Вы смело можете поверить этой истории, потому что она исходит не от меня, а от моей тетушки, никогда не осквернявшей себя ложью. Эту историю вы можете рассказать язычникам, чувствуя, что учите их истине и творите добро. Во всех воскресных школах нашей местности эту историю рассказывают с нравоучительной целью. Она из тех историй, которым поверят даже маленькие дети.

Произошло это еще во времена кринолинов. Тетушка, жившая тогда в одном провинциальном городке, однажды

утром отправилась за покупками и остановилась на Хай-стрит, чтобы поболтать со своей приятельницей, миссис Гамворси, женой местного врача. Она (моя тетушка) была в то утро в новом кринолине, в котором, по ее собственному выражению, неплохо выглядела. Это было огромное сооружение, негнущееся, как решетка, и прекрасно *сидевшее* на ней.

Дамы стояли перед магазином Дженкинса, торговца сукнами. Тетушка полагает, что нижний обруч кринолина каким-то образом приподнялся. Так или иначе, но рослый и сильный бульдог, все время вертевшийся около них, ухитрился юркнуть под кринолин моей тетушки и очутился там в плену. Попав внезапно в темную, мрачную камеру, бульдог, разумеется, испугался и стал бешено рваться наружу. Но куда бы он ни прыгал, он всюду натыкался на кринолин. Стремясь вперед, он увлекал за собой кринолин, а вместе с ним мчалась и тетушка.

Никто не понимал, что происходит. Сама тетушка не знала, в чем дело. Никто не видел, как бульдог забрался к ней под кринолин, зато все увидели, что степенная, всеми уважаемая немолодая дама внезапно и беспричинно бросила свой зонтик, понеслась по Хай-стрит со скоростью десять миль в час, с опасностью для жизни перебежала через улицу, повернула назад и помчалась по другой стороне, затем боком, как рассерженный краб, ввалилась в бакалейную лавку, три раза обежала ее кругом, задев и опрокинув все, что было на прилавке, выскочила, пятясь, на улицу, сбила с ног почта-

льона, кинулась на мостовую, где завертелась волчком, с минуту постояла в нерешительности, а потом снова пустилась бегом в гору, да так, будто с цепи сорвалась. При этом она вопила, чтобы хоть кто-нибудь ее остановил.

Все думали, конечно, что она сошла с ума. Люди шарахались от нее, летели, как солома, гонимая ветром. Через пять секунд Хай-стрит стал пустыней. Обыватели попрятались, кто в лавки, кто в дома, и забаррикадировали двери. Особо храбрые мужчины выскакивали, хватали маленьких детей и под одобрительные крики уволакивали их домой. Кучера и возницы, оставив экипажи и телеги, карабкались на фонарные столбы.

Неизвестно, что случилось бы, если бы это приключение затянулось. Паника была так сильна, что мою тетушку, может быть, застрелили бы или окатили водой из пожарной кишки. К счастью, она выбилась из сил. Издав вопль отчаяния, она рухнула на землю и, шлепнувшись на собаку, задавила ее. И тогда в тихом провинциальном городке снова водворилось спокойствие.

Трогательная история

– А, это вы? Идите-ка сюда! Я хочу заказать вам что-нибудь этакое трогательное для рождественского номера. Согласны, дружище?

Так обратился ко мне редактор Н-ского еженедельника, когда я, несколько лет назад, в одно солнечное июльское утро просунул голову в его берлогу.

– Юмористическую страницу жаждет написать Томас, – продолжал редактор. – Он говорит, что на прошлой неделе подслушал остроумный анекдот и надеется состряпать из него рассказ. А историю о счастливых возлюбленных, очевидно, придется делать мне самому. Что-нибудь вроде того, что человека давно считали погибшим, а он сваливается в самый сочельник, как снег на голову, и женится на героине. Я-то надеялся хоть в этом году спихнуть с себя эту преснятину, но, делать нечего, придется писать. Мигза я решил приспособить к благотворительному воззванию в пользу бедных. Из всех нас он самый опытный по этой части. А Кегля настроит едкую статейку о рождественских расходах и о несварении желудка от чрезмерного обжорства. Кегле отлично удаются язвительные интонации, он умеет внести в свой цинизм ровно столько простодушия, сколько требуется, не правда ли?

«Кегля» было прозвище, которое в редакции закрепилось за самым сентиментальным и вместе с тем самым серьезным

из наших сотрудников; настоящая фамилия его была Бейерхенд.

Ничто так не умиляло нашего Кеглю, как Рождество. До праздника оставалась еще целая неделя, а в сердце Кегли уже скапливалось столько любви и благоволения как к мужской, так и к женской половине человечества, что эти чувства просто выпирали из него. Он приветствовал малознакомых людей с таким взрывом восторга, какой не всегда удается иным даже при встрече с богатым родственником. При этом благие пожелания, столь обильные и малозначащие на пороге Нового года, звучали в его устах с такой убежденностью в их скором исполнении, что каждый, кого он ими наделял, отходя от Кегли, чувствовал себя в долгу перед ним.

Встреча со старым другом была для него в это время попросту опасна. От избытка чувств он терял способность говорить. За него становилось страшно. Казалось, еще минута – и он лопнет.

В самый день Рождества он обычно лежал в лежку по милости множества прочувствованных тостов, провозглашаемых им в Сочельник. В жизни я не видывал человека, питавшего большее пристрастие к прочувствованным тостам. Кегля неизменно пил за «старое доброе Рождество» и за «старую добрую Англию», затем переходил к тостам за здоровье своей матушки и остальных родичей. Дальше шли тосты за «милых женщин» и за «школьных товарищей», и «за дружбу вообще» и «да не угаснет она вовек в сердце истинного бри-

танца», и «за любовь» – «пусть она вечно глядит на нас глазами наших возлюбленных и жен», и даже за «солнце, друзья мои, которое сияет, но – увы! – за облаками, так что мы никогда не видим его и пользы от него почти не имеем!». Да, много чувств теснилось в груди у Кегли.

Но самым любимым его тостом, при котором его красноречие неизменно окрашивалось меланхолией, был тост за «отсутствующих друзей». Их у него было, по-видимому, огромное количество, и, надо честно сказать, он их никогда не забывал. Чуть только где-нибудь наклевывалась выпивка, «отсутствующим друзьям» Кегли был обеспечен тост, а присутствующим, если только они не проявляли достаточной дипломатии и твердости, – длиннейшая речь, способная испортить настроение на целую неделю.

Злые языки утверждали, что во время этого тоста глаза Кегли невольно обращались в сторону местной тюрьмы, но потом, когда все убедились, что Кегля простирает свои симпатии не только на своих, но и на чужих отсутствующих друзей, ехидные толки прекратились.

Как бы ни были внушительны ряды его «отсутствующих друзей», упоминание о них нам порядком надоело. Кегля положительно пересаливал. Правда, все мы бываем более высокого мнения о наших друзьях, когда они отсутствуют, – гораздо более высокого, чем когда они рядом. Это общее правило. Однако никому не охота беспрестанно тревожиться о них. На рождественском балу, на каком-нибудь юбилейном

обеде, даже на собрании акционеров, когда к добродетельным чувствам невольно примешивается грусть, можно, конечно, вспомнить и об отсутствующих друзьях, но Кегля вытаскивал их на свет в самые неподходящие минуты.

Никогда не забуду одной свадьбы, где он провозгласил свой очередной тост. Это была превеселая свадьба. Все шло прекрасно, новобрачные и гости находились в наилучшем настроении. Завтрак кончался, все обязательные тосты остались позади. Приближалось время, когда молодоженам надо было собираться в свадебное путешествие, а нам – благословлять их, осыпая рисом и кидая вдогонку старую обувь, как вдруг поднялся Кегля с похоронным выражением на лице и бокалом вина в руке.

Я сейчас же догадался, что будет дальше, и попытался толкнуть его ногой под столом – не для того, чтобы сбить его с ног, хотя при данных обстоятельствах такой поступок был бы, вероятно, оправдан, нет, я просто хотел дать ему понять, чтобы он замолчал.

Однако я промахнулся. То есть я попал в кого-то, но не в Кеглю, потому что он продолжал стоять как ни в чем не бывало. По всей вероятности, я дал пинка сидевшей рядом с ним новобрачной. Вторично я уже не стал пробовать, и он, не прерываемый никем, уселся на своего любимого конька.

«Друзья! – начал он. Его голос дрожал от волнения, глаза искрились слезами. – Прежде чем мы расстанемся, – и некоторые из нас, быть может, никогда уже не встретятся в

этом мире, – прежде чем эта безгрешная юная чета, сегодня принявшая на себя все многочисленные испытания и невзгоды семейной жизни, покинет, по воле судьбы, этот мирный приют, чтобы вкусить горести и разочарования нашей безрадостной жизни, я хотел бы провозгласить еще никем до сих пор не предложенный тост».

Здесь он смахнул вышеупомянутую слезу, а присутствующие, напустив на себя серьезность, старались щелкать орехи не так громко.

«Друзья мои, – продолжал он все более взволнованным и проникновенным тоном, – почти все мы в свое время испытали, благодаря смерти или отъезду, горе разлуки с дорогим нам близким существом, может быть даже не с одним, а с двумя или тремя...»

Тут он подавил готовое вырваться рыдание, а сидевшая на другом конце стола тетка новобрачного беззвучно заплакала, роняя слезы прямо в мороженое. Ее старшему сыну недавно пришлось покинуть Англию, купив пароходный билет за счет родных, которые обязали его никогда не возвращаться.

«Прелестная молодая девица, сидящая рядом со мной, – продолжал Кегля, откашлявшись и ласково положив руку на плечо новобрачной, – как вам известно, несколько лет назад лишилась матери. Леди и джентльмены, скажите, что может быть горестнее, чем смерть матери?»

Эти слова, разумеется, возымели действие, и новобрачная разрыдалась. Ее молодой супруг, движимый лучшими наме-

рениями, попытался утешить ее, шепотом уверяя, что все к лучшему и что никто из знавших покойную леди не пожелал бы, чтобы она ожила даже на мгновение. На это молодая жена с негодованием заявила, что если он так радуется смерти ее матери, то напрасно он не сообщил ей об этом раньше. Она никогда бы не вышла за него замуж; услышав это, жених погрузился в мрачное раздумье.

Тут я невольно поднял глаза, чего до сих пор старался не делать, и, на беду, встретился взглядом с другим журналистом, сидевшим напротив. Мы оба разразились смехом, заслужив этим репутацию самых что ни на есть толстокожих людей, – репутацию, сохранившуюся за нами, боюсь, до настоящего времени.

Кегля – единственный, кто оставался доволен собой и своим местопребыванием за этим еще недавно праздничным столом, – продолжал гудеть:

«Друзья, неужели мы, собравшись по поводу радостного для всех нас события, предадим забвению дорогую мать новобрачной? Неужели не вспомним отца, мать, брата, сестру, ребенка, друга, навсегда покинувших нас? Нет, леди и джентльмены! В вихре веселья мы не забудем ушедших от нас блуждающих душ и, среди звона бокалов, среди шуток и смеха, выпьем за *отсутствующих друзей!*»

Все присоединились к тосту и осушили бокалы под аккомпанемент подавленных рыданий и протяжных стонов, после чего гости поднялись из-за стола, чтобы освежить лица и

успокоить чувства. Садясь в карету, новобрачная отказалась от помощи своего супруга и оперлась на руку отца. Свадебное путешествие она начинала томимая мрачными мыслями о будущем в обществе такого бессердечного чудовища, каким показал себя ее муж.

С той поры сам Кегля навсегда стал *отсутствующим другом* в их доме.

Однако вернемся к заказанному мне трогательному рассказу.

– Постарайтесь не запоздать с ним, – напомнил редактор, – сдайте его к концу августа, не позже. Надо в этом году пораньше сделать рождественский номер; в прошлом, помните, мы провозились с ним до октября. Нельзя, чтобы «Клиппер» снова опередил нас.

– Не беспокойтесь, – беспечно ответил я, – живо настрочу. На этой неделе я не особенно занят и сразу же примусь за дело.

Возвращаясь домой, я перебирал в уме всевозможные сюжеты в поисках такого, который мог бы послужить основой для душещипательного рассказа. Но ничего трогательного я не мог вспомнить. В голову приходили одни комические сценки и сюжеты, и скоро их набралось так много, что они уже не вмещались в моем мозгу. Если бы я не употребил, как противоядие, последний номер «Панча», меня бы, наверное, хватил удар.

«По-видимому, сегодня я не способен к возвышенным

чувствам, – сказал я самому себе. – Что толку насилловать себя! Впереди уйма времени. Подождем, пока придет грустное настроение».

Но дни шли за днями, а настроение у меня становилось все лучезарнее. К середине августа положение стало угрожающим. Если в течение ближайшей недели мне не удастся тем или иным способом вызвать у себя приступ меланхолии, то в рождественском номере Н-ского еженедельника нечем будет нагнать тоску на британскую публику, а это значит, что слава этого журнала как образцового издания для чтения в семейном кругу безвозвратно померкнет.

В те дни я был крайне совестливым молодым человеком. Если уж я взялся к концу августа написать чувствительный рассказ в четыре с половиной столбца и если ценой любых умственных или физических усилий с моей стороны работа осуществима, – значит, эти четыре с половиной столбца должны быть готовы к сроку.

Я всегда считал, что дурное пищеварение – надежный источник меланхолии. Поэтому в течение нескольких дней я придерживался специальной диеты: ел горячую вареную свинину, йоркширский пудинг, жирные паштеты, за ужином – салат из омаров. Меня стали душить кошмары, но почему-то не трагические, а комические. Мне снились слоны, карабкающиеся на деревья, и церковные старосты, пойманные с поличным в воскресенье за игрой в орлянку. Я так хохотал во сне, что просыпался.

Отчаявшись добиться чего-либо с помощью несварения желудка, я принялся за чтение сентиментальной литературы. Никакого толку из этого не вышло. Кроткая девочка из стихотворения Вордсворта «Нас семеро» только взбесила меня, мне хотелось ее отшлепать. Разочарованные пираты Байрона были мне до смерти скучны. Когда в какой-нибудь повести умирала героиня, я радовался и не верил автору, что, потеряв ее, герой уже никогда не улыбался.

Наконец, я прибег к крайнему средству и перечитал кое-что из собственной стряпни. Я ощутил неловкость, стыд, но не почувствовал себя несчастным, – во всяком случае настолько, насколько было нужно.

Тогда я купил все образцовые произведения из области юмора и сатиры, когда-либо увидевшие свет, и мужественно одолел их. Они немного омрачили мое настроение, но все же недостаточно. Моя жизнерадостность оказалась необычайно стойкой и не поддавалась никакому воздействию.

В один из субботних вечеров я зазвал к себе уличного певца народных баллад и песен. Он честно заработал свои пять шиллингов. Он исполнил все самое заунывное из английских, шотландских, ирландских и валлийских песен, подбросив в придачу несколько немецких, которые он пел в переводе. Спустя полтора часа я заметил, что, сам того не сознавая, проделываю в такт его пению веселые танцевальные па. Под аккомпанемент баллады о «старом Робине Грее» у меня получались особенно удачные танцевальные фигуры с замыс-

ловатыми выкрутасами левой ногой после каждого куплета.

В конце августа я отправился к редактору и откровенно рассказал ему обо всем.

– Что это с вами стряслось? – сказал он. – Именно такие вещи получались у вас особенно ловко. А вы пробовали взяться за бедную молодую девушку, влюбленную в молодого человека, который уезжает и не возвращается? А она ждет и ждет, и не выходит замуж, и никто не знает, что ее сердце разбито?

– Пробовал, – ответил я, чувствуя легкое раздражение. – Неужели вы думаете, что я не знаю азов своего ремесла?

– Так в чем же дело? – спросил он. – Разве это не годится?

– Никуда не годится, – отрезал я. – Когда отовсюду только и слышатся вопли о неудачной семейной жизни, никто не станет сочувствовать девушке, избежавшей этого несчастья. Ей просто повезло.

– Гм... – задумчиво пробормотал редактор. – А что вы скажете о ребенке, который просит всех не оплакивать его, а потом умирает?

– И правильно делает, – буркнул я. – По крайней мере, избавил родных от лишних хлопот. Вокруг и так слишком много детей. Сколько от них шуму! На одни ботинки денег не напасешься!

Редактор согласился, что у меня действительно неподходящее настроение, чтобы писать трогательный рассказ из детской жизни.

Он спросил, не размышлял ли я о старом холостяке, который в канун Рождества рыдает над полуистлевшими любовными письмами. Я ответил, что размышлял и пришел к заключению, что он просто старый идиот.

– Не подойдет ли какой-нибудь собачий сюжет? – продолжал он. – Что-нибудь об умирающей собаке? Это все любят.

– Нашли рождественскую тему! – возразил я.

Поговорили мы и о соблазненной девушке, но отказались от нее, – этот сюжет увел бы нас слишком далеко от прямого назначения журнала, являющегося «другом домашнего очага», как сказано в его подзаголовке.

– Что ж, придется вам еще денек-другой поразмыслить, – решил редактор, – мне уж очень не хочется обращаться к Дженксу. Когда он впадает в сентиментальное настроение, он переходит на язык уличного торговца, а наши читательницы не любят сильных выражений.

Я решил пойти попросить совета у одного из моих друзей, весьма известного и любимого писателя, – пожалуй, *самого* известного и любимого из современных писателей. Я очень гордился его дружбой, потому что он действительно был великим человеком. Нельзя, однако, сказать, чтобы он был по-настоящему великим, как те действительно великие люди, которые меньше всего думают о собственном величии. Но великим в общепринятом значении этого слова он, бесспорно, был. Любая написанная им книга расходилась в количестве ста тысяч экземпляров в течение первой же недели, а

каждая его пьеса делала полные сборы пятьсот раз подряд. И о каждом его новом произведении говорили, что оно умнее, глубже и замечательнее всех предыдущих.

Всюду, где говорят по-английски, его имя не сходило с уст и произносилось с глубоким уважением. Где бы он ни появлялся, его чествовали, превозносили, баловали. Описания его очаровательного дома, его очаровательных изречений и поступков его очаровательной особы попадались во всех газетах. Шекспир и вполтину не был так знаменит в свое время, как этот писатель в наши дни.

К счастью для меня, он был в Лондоне, и, войдя в великолепно обставленный кабинет, я застал его сидящим у окна с послеобеденной сигарой в зубах.

Он и мне предложил сигару из того же ящика. Его сигары слишком хороши, чтобы от них отказываться; он покупает их сотнями и платит полкроны за штуку.

Я взял сигару, закурил и, усевшись напротив него, рассказал о своих переживаниях.

Он не сразу заговорил, и у меня даже мелькнула мысль, что, может быть, он вовсе не слушал меня, как вдруг, продолжая смотреть сквозь открытое окно туда, где солнце, прорвав густую пелену дыма над окраиной города, распахнуло и оставило открытыми врата в небеса, он вынул сигару изо рта и сказал:

– Значит, вам нужен по-настоящему грустный рассказ? Я могу вам помочь. То, что я вам расскажу, не очень длинно,

но достаточно печально.

Его голос звучал так сосредоточенно-задумчиво, что всякая реплика была бы неуместна, и я промолчал.

– Это повесть о человеке, который расстался с самим собой, – продолжал он, пристально вглядываясь в угасающий закат, словно читая там свою повесть, – о человеке, который стоял у собственного смертного ложа, наблюдая за своей собственной медленной смертью, и знал, что он стал трупом, что для него все кончено.

Жил когда-то на свете бедный мальчик. Он мало общался с другими детьми. Он любил бродить в одиночку и целыми днями все думал и мечтал. Не потому что он был угрюм или не любил своих школьных товарищей, нет: внутри него что-то шептало детскому сердцу, что ему предстоит познать более глубокие уроки, чем его сверстникам. И он стремился к уединению, как будто незримая рука уводила его туда, где ничто не мешало ему вдумываться в эти уроки.

И среди гула уличной суеты ему постоянно слышались беззвучные, но мощные голоса, всюду сопровождавшие его. Эти голоса говорили ему о предстоящем труде во славу Божью, о труде, который выпадает на долю очень немногих. Когда он вырастет, он будет служить человечеству, будет ежедневно, ежечасно помогать людям становиться честнее, правдивее, тверже. И, оставаясь где-нибудь в полутемном уголке наедине с этими голосами, он простирали свои детские руки к небу и благодарил Бога за обещанный ему великий

дар воздействия на человечество. И он молился о том, чтобы оказаться достойным своей доли.

Предвкушая радостный труд, он не обращал внимания на маленькие житейские горести, скользившие мимо него, словно мусор, уносимый половодьем. По мере того как он подрастал, голоса становились ему все понятнее, и наконец он увидел перед собой свой жизненный путь, подобно путешественнику, который с вершины холма ясно видит внизу тропинку, выющуюся по долине.

Проходили годы, и он возмужал, и обетованный труд должен был начаться.

И тогда злой демон явился к нему и стал соблазнять его. Это был демон, который погубил множество людей, более достойных, чем он, и погубит еще не одного великого человека, – демон славы и успеха. Злой дух нашептывал ему коварные слова, а он, да простит ему Бог, внимал им.

«Рассуди, какую пользу получишь ты от своих произведений, хоть они и полны великих истин и благородных мыслей? Как тебе заплатит за них общество? Разве ты не знаешь, что величайшие мыслители и поэты мира, люди, отдавшие свою жизнь во имя служения человечеству, испокон века получали в награду только пренебрежение, насмешки и нищету? Оглянись, посмотри вокруг себя! Разве вознаграждение, получаемое сегодня немногими честными тружениками, не нищенское подавание в сравнении с богатством, которое сыплется, как из рога изобилия, на всех, кто пляшет под дудку

черни? Слов нет! Чествуют и искренних певцов, но далеко не всех, да и то после их смерти. Правда, идеи, брошенные великими мыслителями, пусть и забытыми, не теряются бесследно, а расходятся все более широкими кругами по океану человеческой жизни. Но что за польза от этого им, мыслителям, в свое время умершим голодной смертью?

Ты талантлив, даже гениален. Богатство, роскошь и власть – к твоим услугам; мягкая постель, изысканные кушанья – все это ждет тебя! Ты можешь стать великим, и твое величие будет на виду у всех. Ты можешь стать знаменитым и собственными ушами слышать, как поют тебе хвалу. Работай для толпы – и толпа заплатит сразу. А боги расплачиваются скупой и неаккуратно».

И демон одолел его, и он пал.

И вместо служения возвышенному идеалу он стал рабом людей. Он писал для богатой черни то, что ей было приятно, и эта чернь аплодировала ему и швыряла ему деньги, а он нагибался, подбирая деньги, улыбался и превозносил щедрость и великодушие своих владык.

И вдохновение художника, родственное вдохновению пророка, покинуло его, и он стал ловким ремесленником, разбитым торгашом, стремящимся только разузнать вкус толпы, чтобы подделаться под него.

«Только скажите, чего изволите, люди добрые, – мысленно восклицал он, – и я тотчас напишу все, что вам угодно! Не хотите ли снова послушать старые лживые сказочки? А

может быть, вы по-прежнему любите отжившие условности, изношенные житейские формулы, гниющие плевелы гаденьких мыслей, от которых вянут даже цветы?

Не спеть ли вам опять все пошлые нелепости, которые вы слышали уже мильон раз? Угодно – я буду защищать ложь и назову ее истиной? Прикажите, как поступить с правдой: вонзить ей нож в спину или восхвалять ее?

Чем мне льстить вам сегодня, каким способом делать это завтра и послезавтра? Научите, подскажите, что мне говорить и что думать, люди добрые, и я буду думать и говорить по-вашему и этим заслужу ваши деньги и ваши рукоплескания!»

И в конце концов он стал богатым, знаменитым и великим. Сбылось все, что обещал ему демон. У него завелись прекрасные костюмы, экипажи, рысаки. Слуги подавали к его столу изысканные яства. Если бы обладание всеми этими благами было равноценно счастью, он, может быть, считал бы себя счастливым, но в нижнем ящике его письменного стола хранилась (и у него никогда не хватало духу уничтожить ее) пачка пожелтевших рукописей, написанных полудетским почерком, – напоминание о бедном мальчике, который когда-то бродил по стертым тротуарам Лондона, мечтая стать посланником правды на Земле, – мальчике, который давным-давно умер и погребен на веки вечные...

Это действительно была очень грустная история, но не совсем такая, какую наши читатели ищут в рождественском

номере своего журнала. Так что мне волей-неволей пришлось обратиться к брошенной девушке с разбитым сердцем.

Человек, который заботился обо всех

Мне рассказывали люди, знавшие его с детства, – и я охотно им верю, – что в возрасте одного года и семи месяцев он плакал, когда бабушка не позволяла ему кормить ее с ложки, а в три с половиной года его полуживым выудили из пожарной бочки, куда он залез, чтобы научить лягушку плавать.

Прошло еще два года, и он, показывая кошке, как перетаскивать котят, не причиняя им боли, повредил себе левый глаз и до сих пор видит им плохо. Примерно в то же время он серьезно заболел от укуса пчелы, которую пересаживал с цветка, где, по его мнению, она попусту теряла время, на другой, чьи медоносные свойства были намного выше.

Его страстью было оказывать помощь всем на свете. Случалось, что он проводил целое утро, втолковывая опытным насекомым, как высиживать цыплят. Вместо того чтобы пойти после обеда в лес за черникой, он оставался дома и раскусывал орехи для своей белки. Ему не было и семи лет, когда он начал спорить с матерью о том, как обращаться с детьми, и делал выговоры отцу за то, что тот неправильно воспитывает его.

Когда он был ребенком, ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем следить, чтобы дети вели себя хорошо.

Эту скучнейшую обязанность он брал на себя по доброй воле, не рассчитывая на благодарность или награду. Ему было решительно все равно, старше или моложе другие дети, сильнее они его или слабее. Когда бы и где бы они ему ни попадались, он сейчас же принимался следить, чтобы они вели себя хорошо. Однажды во время школьного пикника из глубины леса послышались жалобные крики. Отправившийся на поиски учитель обнаружил, что он лежит ничком на земле, а один из его двоюродных братьев, мальчик вдвое выше и сильнее его, сидит на нем верхом и дубасит его размеренно и беспощадно. Поспешив спасти его, учитель спросил:

– Почему ты не играешь с маленькими мальчиками? Зачем ты связался с этим верзилкой?

– Сэр, – ответил он, – я следил, чтобы он вел себя хорошо!

Он был очень отзывчивым мальчиком и охотно давал всему классу списывать решения задач со своей грифельной доски. Больше того, он упорно совал ее даже тем, кто ее вовсе не просил. Делал он это от всей души, но так как в его ответах всегда было множество ошибок, и к тому же ошибок своеобразных и неповторимых, присущих только ему одному, последствия для всех списавших были неизменно плачевными. В силу свойственной молодости привычки судить о явлениях по их непосредственным результатам, не вникая в их скрытые причины, одноклассники нередко поджидали его на улице, чтобы хорошенько отколотить.

Всю свою энергию он отдавал тому, чтобы совершенство-

вать окружающих, – на себя ему времени уже не хватало.

Ему нравилось зазывать к себе домой желторотых юнцов и обучать их боксу.

– Ну-ка, стукни меня по носу! – командовал он, становясь перед противником в оборонительную позу. – Главное, не бойся. Бей сильнее!

Их не надо было долго просить. А он, чуть оправившись от неожиданности и уняв текущую из носа кровь, уже объяснял своим подопечным, что били они плохо, не по правилам, и что он с легкостью мог бы отразить их удары, если бы они дрались как полагается.

Дважды после игры в гольф он хромал в течение целой недели: ему вздумалось показывать новичку, как бить клюшкой по мячу. Однажды, играя в крикет, он стоял с битой в руках перед воротцами и, вместо того чтобы защищать их, объяснял своему метателю, как бросать мяч, и в это время мяч противника сбил среднюю стойку его ворот. После этого он долго и тщетно пререкался с судьей, стараясь доказать, что бросок был неправилен.

Рассказывают, что, когда ему в сильную бурю пришлось переезжать Ла-Манш, он взволнованно бросился на капитанский мостик, доказывая капитану, что «сию минуту видел огни милях в двух по борту!»

Сидя в омнибусе, он непременно устраивался около водителя, чтобы указывать ему препятствия, возникавшие на пути.

Мое знакомство с ним началось тоже в омнибусе. Впереди меня сидели две дамы. Кондуктор подошел к ним, чтобы получить деньги за проезд. Одна из них дала ему шестипенсовик, сказав, что едет до Пикадилли, куда билет стоит два пенса.

– Нет-нет, – сказала вторая дама своей приятельнице и дала кондуктору шиллинг. – Мы сделаем иначе. Я должна тебе шесть пенсов. Дай мне четыре, и я заплачу за нас обеих.

Кондуктор взял шиллинг, оторвал два билета по два пенса и задумался над сдачей.

– Ну вот, – сказала вторая дама, – теперь верните моей приятельнице четыре пенса.

Кондуктор послушался.

– А ты отдай эти четыре пенса мне, – обратилась она к первой даме. – Вот так. А теперь вы, – повернулась она к кондуктору, – дайте мне еще восемь пенсов, и тогда мы будем с вами в расчете.

Кондуктор нехотя отсчитал ей восемь пенсов: шестипенсовик, полученный им от первой дамы, и три монетки из своей сумки – пенни и два полупенса. Он сомневался в правильности выданной им сдачи и вышел из вагона на площадку, бормоча, что в его служебные обязанности не входит играть роль арифмометра.

– А теперь, – сказала вторая, старшая, дама младшей, – я должна тебе ровно шиллинг.

Я полагал, что вопрос о расчетах покончен, как вдруг си-

девший напротив меня румяный джентльмен оглушительным басом закричал:

– Эй, кондуктор! Вы обсчитали этих дам на четыре пенса.

– Кто кого обсчитал на четыре пенса?! – с негодованием воскликнул кондуктор, стоя на верхней ступеньке лестницы. – Я же выдал им два билета по два пенса!

– Два двухпенсовых билета – это не восемь пенсов, – с горячностью возразил румяный джентльмен и, обратившись к первой даме, спросил: – Скажите, сударыня, сколько вы дали кондуктору?

– Шесть пенсов, – ответила та, порывшись в своем кошельке, – а затем я дала четыре пенса тебе, – прибавила она, обращаясь к приятельнице.

– Недешевые билетки! – вмешался в разговор какой-то просто одетый человек, сидевший на задней скамейке.

– Не в этом же дело, дорогая, – запротестовала вторая дама, – Я с самого начала была должна тебе шесть пенсов.

– Но ведь я дала тебе четыре пенса, – настаивала первая.

– А мне вы дали шиллинг, вы! – заявил кондуктор, грозно указывая пальцем на старшую из двух дам.

Та утвердительно кивнула головой.

– А я дал вам сдачи шесть пенсов и потом еще два. Правильно? – продолжал он.

Дама подтвердила и это.

– А вот ей, – указал он на первую даму, – я дал четыре пенса. Так или не так?

– Которые я тут же передала тебе, дорогая, – подхватила младшая.

– Провались я на этом месте, если меня не обжулили на четыре пенса! – крикнул кондуктор.

– Позвольте, – снова вмешался румяный джентльмен, – ведь вы получили еще шестипенсовик от другой дамы.

– Которые я отдал вот ей! – воскликнул кондуктор, опять пуская в ход свой обличающий палец. – Обыщите мою сумку, нате! У меня нет ни одной шестипенсовой монеты!

Тут уже все успели забыть, кто что сделал, и начали противоречить и себе и друг другу. Наш румяный спутник взялся уладить дело, но добился только того, что, еще не добравшись до Пикадилли, трое пассажиров грозили пожаловаться на кондуктора за грубость, сам кондуктор успел позвать полисмена и записал имена и местожительство обеих дам, чтобы судиться о ними за неуплату четырех пенсов (которые они хотели заплатить немедленно, но румяный господин им не позволил). Младшая дама прониклась уверенностью, что старшая хотела ее одурачить, а та залилась слезами.

Румяный джентльмен доехал вместе со мной до вокзала Черинг-кросс. Там у кассы выяснилось, что мы оба живем в одном пригороде, и мы сели в одно купе. В течение всей дороги он толковал об этих четырех пенсах.

У дверей моего дома мы обменялись рукопожатиями. Он пришел в восторг, видя, как близко мы живем друг от друга. Что привлекало его во мне, я решительно не мог понять, так

как сам он мне ужасно надоел и я почти не скрывал этого. Впоследствии я узнал, что у него было особое свойство приходить в восторг от всякого, кто не оскорблял его прямо в глаза.

Три дня спустя он без всякого приглашения ворвался ко мне в кабинет, видимо, уже считая себя моим задушевым другом, и стал извиняться, что никак не мог навестить меня раньше, что я ему охотно простил.

– У вашего дома я встретил почтальона, и он передал мне для вас вот это, – сказал он, вручая мне голубой конвертик.

Там оказалось напоминание о необходимости внести плату за воду.

– Мы должны занять твердую позицию в этом вопросе, – заявил он. – Я вижу, плата тут начислена до двадцать девятого сентября. С какой стати платить эти деньги теперь, в июне?

Я ответил примерно в том духе, что платить за воду так или иначе придется, а потому не все ли равно, когда платить, в июне или в сентябре.

– Дело не в сроке, – ответил он, – а в принципе. Чего ради платить за воду, которой вы еще не пользовались? По какому праву они заставляют вас платить вперед?

Язык у него был подвешен хорошо, и я развесил уши, слушая его. В каких-нибудь полчаса он убедил меня в том, что это вопрос не пустяковый, что он связан с неотъемлемыми правами человека и гражданина и что если я заплачу

эти четырнадцать шиллингов и десять пенсов в июне вместо сентября, то окажусь недостойным своих предков, отдавших жизнь в борьбе за те права, которыми я сейчас пользуюсь.

Он сказал, что водопроводная компания действует без малейших юридических оснований, и, поддавшись его уговорам, я тут же сел и написал председателю компании оскорбительное письмо.

В ответе, подписанном секретарем, говорилось, что ввиду непримиримости занятой мною позиции компания считает необходимым использовать этот случай для создания прецедента и потому подает на меня в суд, предлагая мне заблаговременно обратиться к своему адвокату.

Когда я показал письмо моему новому знакомому, он просиял.

– Предоставьте это дело мне! – ликовал он, пряча письмо секретаря в карман. – Мы им покажем!

И я предоставил это дело ему. Единственным оправданием мне может служить то, что я был поглощен работой над пьесой (по терминологии того времени она называлась комедийной драмой) и весь здравый смысл, которым я тогда располагал, очевидно, ушел на создание этой пьесы.

Решение мирового судьи несколько охладило меня и, наоборот, воспламенило его.

– Мировые судьи – безмозглые старые чучела, – говорил он. – Это дело уголовного суда!

Председатель уголовного суда оказался добродушным

старым джентльменом. Его решение основывалось на том, что, поскольку оговорка, разрешающая взимание платы вперед, выражена в договоре довольно туманно, он не может отнести судебные издержки компании за мой счет. В итоге за все это удовольствие мне пришлось заплатить что-то около пятидесяти фунтов, – правда, включая в эту сумму четырнадцать шиллингов и десять пенсов абонентной платы.

После этого мои отношения с услужливым соседом стали немного прохладнее, но, живя в одном пригороде, мне поневоле приходилось встречаться с ним, а еще чаще – слышать о нем.

На всякого рода вечерах и утренниках он неизменно задавал тон, а так как в подобных случаях он бывал необыкновенно милым и ласковым, то представлял особую опасность.

Никто более него не трудился ради всеобщего увеселения. Никому не удавалось так быстро вызвать всеобщее уныние и тоску.

Как-то раз на Рождество я зашел к знакомым и еще из передней увидел странную картину. Пожилые дамы и мужчины, человек в общей сложности четырнадцать или пятнадцать, мрачно маршировали вокруг стульев, стоявших в центре гостиной, а наш румяный Попльтон играл что-то на рояле. Время от времени он переставал играть, и тогда каждый мог, опустившись на ближайший стул, немного передохнуть, а счастливцев, которому не хватило стула, пользовался случаем, чтобы улизнуть, провожаемый завистливыми взгляда-

ми остальных. Я постоял у двери, наблюдая за этим противоестественным зрелищем. Но вот ко мне подошел только что ускользнувший из игры гость, и я спросил его, ради чего все это делается.

– Лучше и не спрашивайте, – с раздражением ответил он. – Очередная идиотская выдумка Попльтона. – И свирепо добавил: – А после этого мы будем играть в фантики!

Я попросил служанку не беспокоиться и никому не сообщать о моем приходе и, сунув ей за это шиллинг, сумел исчезнуть, никем не замеченный.

Сразу после сытного обеда Попльтон любил организовывать танцы, для которых надо было скатывать ковры или перетаскивать тяжелый рояль в противоположный угол комнаты.

У него был такой набор игр и развлечений, что он вполне мог бы открыть филиал чистилища на Земле. Стоило человеку втянуться в интересный спор или увлечься беседой с хорошенькой женщиной, как на него налетал Попльтон, восклицая: «За мной, мы начинаем литературную игру!» Притащив несчастного к столу и снабдив его карандашом и бумагой, он требовал, чтобы тот немедленно нарисовал словесный портрет любимой им литературной героини, и стоял над душой жертвы, пока не добивался своего.

Однако Попльтон не щадил и самого себя. Кто, как не он, первый предлагал свои услуги, когда надо было провожать на вокзал одиноких старых дам? И он не успокаивался, по-

ка не усаживал их в купе совсем не того поезда, какой им был нужен. Он любил играть в «диких зверей» с маленькими ребятами, после чего те всю ночь мучились нервными припадками.

Нет и не было на свете человека с более благими намерениями, чем Попльтон. Навещая больных бедняков, он всегда приносил какое-нибудь лакомство, которое им было противопоказано. Для людей, предрасположенных к морской болезни, он великодушно, за свой счет, устраивал поездки на яхте, а страдания, которым они при этом подвергались, считал проявлением черной неблагодарности.

Он страстно любил брать на себя подготовку свадебных церемоний. Однажды он устроил так, что невеста явилась в церковь за три четверти часа до жениха, и тем самым вызвал неприятные переживания, омрачившие для всех радость этого светлого дня. В другой раз он забыл пригласить на венчание священника. Но зато он всегда был готов признать свои ошибки.

На похоронах он также играл немалую роль, доказывая убитым горем родственникам, насколько каждому из них удобнее или приятнее, что покойник уже отправился на тот свет, и выражая благочестивую надежду, что его собеседник скоро с ним встретится.

Но самым главным наслаждением его жизни было вмешиваться в семейные ссоры друзей и знакомых. Ни одна семейная ссора на много миль вокруг не обходилась без участия

Попльтона. Обычно он начинал ролью примирителя, а кончал главным свидетелем со стороны истца.

Будь он журналистом или дипломатом, его страсть вмешиваться в чужие дела завоевала бы ему всеобщее уважение. Его ошибка заключалась в том, что он занимался этим в частной жизни.

Рассеянный человек

Вы приглашаете его к себе на обед в четверг, упомянув, что у вас соберутся несколько человек, которые жаждут с ним познакомиться.

– Но смотри не перепутай, – говорите вы, вспоминая случившиеся с ним недоразумения, – не вздумай прийти в среду.

Он добродушно смеется и начинает метаться по комнате в поисках записной книжки.

– В среду мне нужно сделать несколько зарисовок платьев в Меншен-хаус, так что я никак бы не мог прийти, – говорит он. – А в пятницу я еду в Шотландию, там в субботу открывается выставка картин. Видишь, на этот раз все устраивается как нельзя лучше. Но, черт возьми, где же моя записная книжка? Впрочем, неважно, я при тебе запишу это вот тут.

Вы стоите рядом, пока он записывает ваше приглашение на листке бумаги. После того как он прикалывает его над письменным столом, вы спокойно уходите.

– Надеюсь, что сегодня он все-таки придет, – говорите вы жене в четверг вечером, переодеваясь к обеду.

– А ты уверен, что растолковал ему все как следует? – недоверчиво спрашивает она, и вы инстинктивно чувствуете, что в случае недоразумения она свалит всю вину на вас.

Бьет восемь часов. Все остальные гости в сборе. В поло-

вине девятого вашу жену таинственно вызывают из гостиной и горничная сообщает ей, что, если гости сейчас же не сядут за стол, кухарка, выражаясь образно, умывает руки.

Вернувшись в гостиную, ваша жена говорит, что если уж обедать, то лучше делать это не откладывая. Она, очевидно, недоумевает, почему вы притворялись и не сказали сразу, что забыли пригласить своего приятеля.

За супом и рыбой вы рассказываете разные анекдоты о его рассеянности. Но постепенно пустое место за столом нагоняет на всех уныние, и с появлением жаркого разговор переходит на покойных родственников.

В пятницу вечером, в четверть девятого, он подкатывает к вашему подъезду и неистово звонит. Услышав в передней его голос, вы выходите к нему.

– Виноват, запоздал! – весело восклицает он. – Дурак кебмен повез меня на Алфред-плейс вместо...

– А зачем ты, собственно, явился? – прерываете вы его, чувствуя, что в этот момент вы не в состоянии относиться к нему с обычным добродушием. Он ваш старый друг, и вы позволяете себе говорить с ним грубо.

Он смеется и хлопает вас по плечу:

– А мой обед, дружище? Я умираю с голоду.

– В таком случае, – ворчливо отвечаете вы, – отправляйся обедать куда-нибудь в другое место. Здесь ты обеда не получишь.

– Что это значит, черт возьми! – говорит он. – Ты же сам

звал меня к обеду.

– Ничего подобного, – отвечаете вы. – Я приглашал тебя на четверг, а не на пятницу.

Он недоверчиво смотрит на вас.

– Но у меня в голове засела пятница. Как это могло случиться? – настойчиво спрашивает он.

– Такая уж у тебя память, – объясняете вы, – когда речь идет о четверге, ты непременно вдолбишь себе в голову пятницу! Кстати, ты как будто должен был сегодня выехать в Эдинбург?

– Ах, боже мой! – кричит он. – Ну, конечно! – и вылетает на улицу и во все горло зовет извозчика, которого только что отпустил.

Возвращаясь к себе в кабинет, вы размышляете о том, что ему придется совершить путешествие в Шотландию во фраке, а наутро он должен будет послать швейцара гостиницы в магазин готового платья за костюмом. И вы злорадствуете.

Еще хуже оборачивается дело, когда в роли хозяина оказывается он сам. Помню, я как-то летом гостил у него. Он жил тогда в понтонном домике, стоявшем на приколе в уединенном местечке между Уоллингфордом и Дейслоком. Было около часу дня, и мы сидели на борту, болтая ногами в воде.

Вдруг из-за поворота показались две лодки, в каждой из них сидело шесть празднично одетых людей. Заметив нас, они принялись размахивать платками и зонтиками.

– Гляди-ка, – сказал я, – они ведь тебе машут.

– Нет, это такой обычай, – ответил он, не глядя. – Просто какая-нибудь компания возвращается после пикника.

Лодки приближались. Когда они были в двухстах ярдах, на носу первой из них поднялся во весь рост пожилой джентльмен и что-то закричал нам.

Услышав его голос, Мак-Куэй так подпрыгнул, что чуть не свалился в воду.

– Великий боже, – завопил он, – ведь я совершенно забыл!

– О чем ты забыл? – недоуменно спросил я.

– Да ведь это приехали Палмерсы, Грэхемы и Гендерсоны. Я пригласил их всех на завтрак, а у меня на борту ничего, кроме двух бараньих котлет и фунта картофеля! Хоть шаром покати! Да еще и юнгу я отпустил на целый день!..

В другой раз, когда я как-то завтракал с ним в клубе, к нам подошел наш общий приятель Хольярд.

– Что вы, друзья, собираетесь делать сегодня? – спросил он, подсаживаясь к нашему столику.

– Если тебе нечего делать, поедем со мной, – сказал Хольярду Мак-Куэй. – Я собираюсь прокатиться с Линой в Ричмонд. (Лина была той юной особой, которую он в данный момент считал своей невестой. Впоследствии выяснилось, что он одновременно был помолвлен еще с двумя девушками, но о них он совсем забыл.) Ты можешь сесть сзади, места хватит.

– С удовольствием, – сказал Хольярд, и они все втроем укатили в двуколке.

Часа через полтора Хольярд, усталый и удрученный, вошел в курительную комнату клуба и упал в кресло.

– А я думал, что ты отправился в Ричмонд с Мак-Куэем, – сказал я.

– Ты не ошибся, – ответил он.

– Что-нибудь случилось? – продолжал я.

– Да. – Его ответы были весьма немногословны.

– Коляска опрокинулась? – допытывался я.

– Она – нет, я – да.

Его речь и нервы были в одинаково плачевном состоянии. Я стал ждать объяснения, и немного погодя он рассказал мне следующее:

– До Путни мы добрались, всего один раз наскочив на конку. Стали подниматься в гору, и тут он вдруг решил сделать поворот. Ты знаешь, как Мак-Куэй расправляется с поворотами. Срезает угол, шпарит через тротуар, потом через дорогу и въезжает напрямик в противоположный фонарный столб. Обыкновенно к этому успеваешь подготовиться, но тут я никак не предполагал, что он собирается повернуть, и очнулся уже на мостовой, в окружении дюжины гогочущих зевак. Как и всегда в таких случаях, прошло несколько минут, пока я опомнился и сообразил, что произошло. Когда я поднялся, они были уже далеко. Я долго бежал за ними, крича что было сил, и со мной бежала целая орава мальчишек, которые вопили, как вырвавшиеся на свободу черти. Но с таким же успехом можно было взывать к покойникам. В

общем, мне пришлось вернуться сюда в омнибусе.

– Если бы у них была хоть капля здравого смысла, – добавил он, – они бы поняли, что произошло, хотя бы по тому, как качнулся экипаж. Я ведь не муха.

Он жаловался на ломоту во всем теле и сказал, что пойдет домой. Я предложил послать за кебом, но он заявил, что предпочитает идти пешком.

В тот же день вечером я встретил Мак-Куэя на премьере в Сент-Джемском театре. Он пришел делать зарисовки для журнала «Грэфик». Заметив меня, он тотчас же протиснулся ко мне сквозь толпу.

– Тебя-то я и хотел видеть! – воскликнул он. – Скажи, брал я Хольярда с собой в Ричмонд сегодня?

– Конечно, – ответил я.

– Вот и Лина говорит, что брал, – пробормотал он в полном замешательстве, – но я готов поклясться, что его не было в коляске, когда мы добрались до гостиницы Королевы в Ричмонде.

– Все в порядке, – сказал я, – ты выронил его в Путни.

– Выронил в Путни? – повторил он. – Не помню такого случая.

– Зато он помнит, – ответил я. – Спроси его самого. Он весь полон воспоминаниями.

Все знакомые Мак-Куэя считали, что он никогда не женится. Казалось немыслимым, чтобы он ничего не перепутал и запомнил одновременно час, церковь и девушку. Говори-

ли, что если он даже доберется до алтаря, то забудет, зачем пришел, и выдаст невесту за собственного шафера. Хольярд считал, что Мак-Куэй уже давно женат, но что подобная мелочь изгладилась из его памяти. Я лично был убежден, что если его свадьба и состоится, то на следующий день он о ней все равно забудет.

Но мы все ошибались. Каким-то чудом обряд венчания благополучно совершился, так что, если предположение Хольярда справедливо (что вполне вероятно), то можно ожидать некоторых осложнений.

Правда, мои собственные опасения рассеялись, как только я увидел молодую супругу. Это была прелестная и веселая маленькая женщина, совсем не из тех, которые могут допустить, чтобы муж о них забывал.

Я не видел его со времени свадьбы, которая произошла весной. Возвращаясь как-то из Шотландии, я не спешил и по пути домой остановился на несколько дней в Скарборо. Пообедав за табльдотом, я надел макинтош и вышел погулять. После месяца в Шотландии на английскую погоду внимания уже не обращаешь. Мне хотелось подышать воздухом, несмотря на ливень и ветер. С трудом продвигаясь против ветра по темному берегу, я споткнулся о какую-то скрючившуюся фигуру. Прижавшись к стенке набережной, этот человек старался хоть немного укрыться от непогоды. Я ожидал, что он выругается, но он был, видимо, слишком подавлен, чтобы на что-нибудь реагировать.

– Простите, я не заметил вас, – извинился я.

При звуке моего голоса он вскочил и воскликнул:

– Неужели это ты, дружище?

– Мак-Куэй! – удивился я.

– Клянусь Юпитером, еще никогда я так не радовался встрече! – Он так тряс мою руку, что чуть не оторвал ее.

– Но что ты здесь делаешь, черт побери? – спросил я. – Ты же насквозь промок.

Он был в светлых брюках и теннисной куртке.

– Да, – ответил он. – Я не думал, что пойдет дождь. Утром была хорошая погода.

У меня мелькнуло опасение, что от переутомления он уже начал заговариваться.

– Почему ты не идешь домой? – спросил я.

– Не могу, – ответил он. – Не знаю, где я остановился. Я забыл свой адрес. И ради бога, – продолжал он, – поведи меня куда-нибудь, где можно поесть. Я буквально умираю с голоду.

– Разве у тебя нет с собой денег? – спросил я, пока мы шли к гостинице.

– Ни пенса, – ответил он. – Мы с женой приехали сюда из Йорка в одиннадцать часов утра, вещи оставили на вокзале, а сами пошли искать квартиру. Как только устроились, я переоделся и вышел погулять; сказал Мод, что вернусь к ленчу, примерно к часу дня. И уж такой я дурак, что даже не записал адреса и не запомнил дороги... Положение прямо

ужасное, – продолжал он. – Ума не приложу, где ее искать теперь. Я надеялся, что она вечером зайдет в сад при курзале, и потому с шести часов околачивался около входа, но зайти туда не мог. У меня не было трех пенсов на билет.

– Неужели тебе совсем не запомнились ни улица, ни дом? – спросил я.

– Хоть убей, не обратил внимания, – ответил он. – Я во всем положился на Мод и был спокоен.

– А ты пробовал наводить справки в меблированных комнатах? – спросил я.

– Еще как пробовал! – воскликнул он с горечью. – Всю вторую половину дня упорно бродил от дома к дому и спрашивал, не живет ли здесь миссис Мак-Куэй? В большинстве случаев хозяин вместо ответа захлопывал двери перед самым моим носом. Я обратился к полицейскому, думал, он что-нибудь посоветует, а тот идиот только расхохотался. Я так рассвирепел, что поставил ему фонарь под глазом и должен был удирать. Теперь меня, наверно, ищут.

Потом я пошел в ресторан, – мрачно продолжал он, – попробовал уговорить хозяйку отпустить мне в долг порцию жаркого. Но она сказала, что не раз уже слышала подобные басни, и при всех выгнала меня вон. Я думаю, что утопился бы, если б не встретил тебя.

Переодевшись в сухое платье и поужинав, он немного успокоился, но дело оказалось сложнее, чем можно было подумать. Их лондонская квартира была закрыта, и родствен-

ники его жены уехали путешествовать за границу. Ему даже некому было написать письмо, с уверенностью, что оно будет переслано жене: он не знал точно, с кем она переписывается. Вряд ли им было суждено в ближайшее время встретиться на этом свете. И хотя он, бесспорно, любил свою жену и хотел ее отыскать, мне показалось, что он ожидал этой встречи, если ей вообще суждено было состояться, без особенно радостных предчувствий.

– Ей все это покажется странным, – бормотал он задумчиво, сидя на краю кровати и медленно снимая носки. – Ей, несомненно, все это покажется странным.

На следующий день, то есть в среду, мы отправились к адвокату и изложили ему обстоятельства нашего дела. Он навел справки у всех, кто в Скарборо сдает внаем меблированные комнаты, и в четверг днем Мак-Куэй, подобно герою салонной пьесы, был в последнем акте возвращен в свой дом к своей жене.

При следующей встрече с Мак-Куэем я спросил, что ему сказала жена.

– О, почти все то, что я ожидал, – ответил он.

Но что именно он ожидал, он так мне и не рассказал.

Очаровательная женщина

– Неужели вы тот самый мистер N?

В ее глубоких карих глазах я прочел радостное изумление, к которому примешивалась боязнь ошибиться. Она переводила взгляд с меня на моего приятеля, только что познакомившего меня с ней, и в ее чарующей улыбке недоверие уступало место надежде.

Он, смеясь, подтвердил, что я действительно являюсь «тем самым, единственным, неповторимым», и удалился, оставив нас вдвоем.

– А я почему-то представляла вас таким степенным, уже немолодым, – сказала она с очаровательной улыбкой и прибавила тихим, мягким голосом: – Я очень рада познакомиться с вами, искренне рада.

Слова эти могли показаться обыкновенной светской любезностью, но зато голос ее ласковым теплом проникал в самую душу.

– Садитесь около меня, мне так хочется, чтобы вы поговорили со мной, – сказала она, давая мне место рядом с собой на маленьком диванчике.

Я неловко сел рядом с нею, чувствуя легкий шум в ушах, как бывает после лишнего бокала шампанского. В ту пору я еще делал первые шаги в литературе. Одна маленькая книжка рассказов плюс несколько очерков и критических за-

меток, появившихся в малоизвестных журналах, составляли весь мой вклад в текущую английскую литературу. И вдруг оказывается, что я уже нечто, что очаровательные женщины знают обо мне, приходят в восторг от знакомства со мной, – какое волнующее открытие!

– Неужели действительно вы автор этой умнейшей книги, – продолжала она, – и всех этих блестящих статей в журналах и газетах? Ах, какое наслаждение быть таким остроумным!

Тут она вздохнула с кокетливым сожалением, и этот вздох отозвался в моей груди. Стремясь утешить ее, я начал бормотать какой-то вымученный комплимент, но она прикосновением веера остановила меня. Потом я был ей очень благодарен за это: подобные вещи следует выражать совсем иначе.

– Я знаю, что вы собирались мне сказать. Но не говорите ничего, – рассмеялась она. – К тому же кто знает, как толковать ваши слова. Ведь вы такой насмешник!

Я постарался придать своему лицу такое выражение, будто я способен насмеяться над кем угодно, только не над нею.

Ее рука, с которой она сняла перчатку, на мгновение задержалась на моей руке. Продлись это еще мгновение, и я бы бросился перед ней на колени или стал бы на голову у ее ног, одним словом, разыграл бы дурака на глазах у всех. Но ее движения были рассчитаны до малейших долей секунды.

– *От вас* я бы не хотела слышать любезностей. Я хочу, чтобы мы стали *друзьями*, хотя по возрасту я гожусь вам в

матери. (На вид ей можно было дать не больше двадцати шести лет, хотя по метрике ей, возможно, было тридцать два, я же, несмотря на свои двадцать три года, был еще совсем зелен и глуп.)

– Вы знаете людей нашего круга, – продолжала она, – и вы, к счастью, так на них не похожи. В сущности общество состоит из пустых, никчемных и неискренних людей, не правда ли? Если бы вы знали, как мне иногда хочется бежать от них, встретиться с человеком, который бы читал в моей душе, как в открытой книге, и понимал меня! Надеюсь, вы будете навещать меня, и часто. Я всегда дома по средам. Я буду рассказывать вам все, что у меня на душе. Но только вы тоже должны говорить мне о всех своих мыслях и планах.

Я подумал, что, может быть, ей будет приятно, если я сейчас же поделюсь с нею некоторыми сокровенными думами, но не успел я произнести и двух слов, как около нас появился один из представителей пустого и никчемного общества и пригласил ее к ужину, так что она была вынуждена покинуть меня.

Но прежде чем исчезнуть в пестрой толпе гостей, она бросила мне через плечо полужалобный-полусмеющийся взгляд, который яснее слов говорил: «Посочувствуйте, мне будет невыносимо скучно в обществе этого ничтожества!»

И мне было ее очень жаль.

В конце вечера, перед уходом, я прошел по всем залам, разыскивая ее. Мне хотелось сказать ей, что она всегда мо-

жет рассчитывать на мое сочувствие и поддержку. Но ее не было. Дворецкий сказал, что она уже давно уехала вместе с тем самым ничтожеством.

Недели две спустя я случайно встретил на Риджентс-стрит одного из моих приятелей, молодого литератора, и мы вместе пошли позавтракать в ресторан.

– С какой очаровательной женщиной я познакомился вчера вечером, – сказал он. – Это миссис Клифтон Кортни. Изумительная женщина!

– Ах, вы тоже познакомились с ней? – воскликнул я. – Мы с ней старые друзья, и она постоянно приглашает меня к себе. Надо будет непременно зайти.

– А я не знал, что вы уже знакомы с ней, – ответил он. Кажется, этот факт снизил в его глазах достоинства его новой знакомой. Но вскоре он заговорил с прежним восторгом: – На редкость умная женщина! Но боюсь, что я слегка разочаровал ее. – И тут он рассмеялся с таким довольным видом, что я ничего не понял. – Видите ли, она никак не хотела поверить, что я – тот самый писатель Смит. Прочитав мою книгу, она решила, что я уже глубокий старик.

Если судить о возрасте моего приятеля по его книге, то лично я сказал бы, что ему никак не больше восемнадцати. Ее заблуждение в этом вопросе доказывало недостаточную проницательность, зато он был явно польщен!

– Очень обидно за нее, – продолжал он. – Живой человек прикован к безжизненному, лицемерному светскому обще-

ству. Она так жаловалась мне. «Не могу вам передать, – говорила она, – как я тоскую по человеку, которому могла бы открыть всю свою душу и кто мог бы понять меня...» Непременно зайду к ней в среду.

Я решил отправиться вместе с ним.

Задушевной беседы с хозяйкой дома, о которой я мечтал, у меня не получилось, поскольку в комнату, рассчитанную человек на восемь, набралось восемнадцать. Долгое время я бесцельно переходил от одной группы гостей к другой, распаренный от духоты и никому не нужный. Это состояние знакомо всем молодым людям, бывающим на светских вечерах. Каждый из них, как правило, знает только того, кто привел его сюда, а тот – сразу исчезает. Но под конец мне все же удалось немного поговорить с ней.

Она встретила меня такой сияющей улыбкой, что я сразу забыл обо всех мучениях, стараясь только удержать ее пальчики в своей руке еще хоть на мгновение.

– Как мило с вашей стороны, что вы сдержали слово и пришли, – прощebetала она. – Эти люди так надоедливы и утомительны. Садитесь поближе и рассказывайте мне все, что вы делали со времени нашей встречи.

Она слушала меня секунд десять и перебила вопросом:

– Скажите, пожалуйста, а тот умный молодой человек, с которым вы сегодня пришли, – я познакомилась с ним у милой леди Леннон, – он тоже что-нибудь написал?

Я ответил, что недавно вышла его первая книга.

– Расскажите о ней подробнее, – попросила она. – У меня так мало свободного времени, что я стараюсь читать только те книги, которые могут быть полезны.

При этом она устремила на меня полный благодарности взгляд, который был красноречивее всяких слов.

Я рассказал ей содержание повести моего приятеля и, стремясь отдать ему должное, процитировал на память несколько фраз, которыми он особенно гордился. Больше всего ей понравилась одна фраза: «Объятия доброй женщины подобны спасательному кругу, который само небо бросает мужчине».

– Ах, как это красиво! – восторгалась она. – Скажите это мне еще раз, прошу вас.

Я произнес всю фразу сначала, и она вслух повторила ее. Потом ею завладела какая-то шумная пожилая дама, а я забился в уголок, тщетно стараясь показать, что мне очень весело.

Когда настала пора уходить, я стал разыскивать своего приятеля и увидел его оживленно беседующим с хозяйкой дома. Я решил подождать и остановился неподалеку. Они обсуждали убийство, недавно происшедшее в Ист-Энде. Женщину зарезал ее собственный муж, трудолюбивый ремесленник, доведенный до исступления поведением жены, пропивавшей его заработок и разрушившей семью.

– Ах, – говорила очаровательная миссис Кортни, – какая огромная власть дана женщине! Она может затоптать муж-

чину в грязь или поднять высоко-высоко. Когда я читаю или слышу о судебном деле, в котором замешана женщина, мне всегда приходят на память чудесные строчки из вашей книги: «Объятия доброй женщины подобны спасательному кругу, который само небо бросает мужчине».

О религиозных и политических взглядах этой дамы существуют различные мнения.

Вот что говорит по этому поводу англиканский пастор:

– Это ревностная христианка, сэ, но из тех, что не выставляют свою набожность напоказ. Она – оплот нашей церкви. Я горжусь знакомством с ней, горжусь, что мои простые слова явились тем скромным орудием, которому удалось вырвать чуткое сердце этой женщины из светского омута, удалось направить ее мысли в область возвышенного. Она верная дочь церкви, сэ, в лучшем смысле этого слова...

Молодой аббат с бледным аристократическим лицом, глубокими горящими глазами, каких не увидишь у людей нашего поколения, говорит некой графине:

– Я возлагаю большие надежды на нашего дорогого друга. Ей нелегко освободиться от пут, свойственных ее возрасту: все мы рабы своих чувств. Но ее сердце стремится в лоно католической церкви, как ребенок, выросший среди чужих, спустя много лет тянется к вскормившей его груди. Мы не раз беседовали с нею, и мне, может быть, суждено быть глазом в пустыне, по зову которого заблудшая овечка вернется

в свое стадо...

Сэр Гарри Беннет, известный теософ, пишет о ней одному из своих друзей:

«Она исключительно одаренная женщина. Самостоятельная, волевая натура. Жаждет познать истину. Полет мысли и доводы рассудка ей не чужды, разум ей дороже всего. Мне не раз случалось беседовать с нею, и меня поражала необычайная быстрота ее восприятий. Я убежден, что мои доводы принесли свои плоды и что в ближайшее время она сделается достойным членом нашего маленького кружка. Не опасаясь нарушить доверенную мне тайну, могу сказать, что почти считаю ее обращение свершившимся фактом».

Полковник Максим всегда говорит о ней как о светлой опоре государства.

– Враг среди нас, – говорит бодрый старый служака. – Да, да! И все верные патриоты должны объединиться для защиты отечества! Честь и слава таким благородным леди, как миссис Клифтон Кортни, которые, преодолев свою врожденную скромность, смело идут вперед и в наше критическое время вступают в борьбу со смутами и беззакониями, творящимися в стране!

– Но, – скажет кто-нибудь из его собеседников, – я слышал от молодого Джоселина, что миссис Клифтон Кортни принадлежит к людям с весьма передовыми взглядами.

– Ба, Джоселин! Нашли авторитетную личность! – презрительно откликнется полковник. – Может быть, и было

время, когда длинные волосы и трескучие фразы этого красноречивая ненадолго увлекли ее, но я льщу себя уверенностью, что сумел вставить ему палку в колеса. Черт меня побери, сэр, но она согласилась баллотироваться в президентки Бермондсейского филиала лиги «Примроз» на будущий год. Желал бы я знать, что на это скажет бездельник Джоселин?

А Джоселин сказал следующее:

– Я знаю, что она слабая женщина, но не обвиняю, а жалею ее. Когда придет время, – а оно придет рано или поздно, – и женщина перестанет быть марионеткой, танцующей по прихоти безмозглого мужчины, когда общество не будет мстить женщине за то, что она осмеливается поступать по велениям совести и не покоряется во всем воле мужа, отца или брата, – только тогда можно будет составить о ней справедливое мнение. Я не собираюсь предавать гласности секреты, доверенные мне страдающей женской душой, но вы можете передать от меня этому забавному допотопному ископаемому, полковнику Максиму, что пусть он и всякие провинциальные старухи выбирают миссис Клифтон Кортни в президентки любой лиги и тешатся этим. Им принадлежит только внешняя оболочка этой женщины, а ее сердце бьется в одном ритме с гулким шагом народа, идущего по пути прогресса, ее глаза устремлены к сиянию грядущего рассвета...

Но в одном вопросе разногласий между друзьями миссис Кортни не было. Все соглашались, что она очаровательная женщина.

Пирушка с привидениями

Введение

Это было в Сочельник. Я начинаю именно так потому, что это самое общепринятое, благопристойное и респектабельное начало, а я был воспитан в общепринятом, благопристойном и респектабельном духе, привык поступать самым общепринятым, благопристойным и респектабельным образом, и эта привычка стала у меня второй натурой.

Собственно говоря, нет необходимости уточнять дату нашей вечеринки: опытный читатель, не дожидаясь разъяснения, сам поймет, что дело было в Сочельник. Если в рассказе участвуют призраки, значит, время действия – Сочельник. Это у привидений самый излюбленный и боевой вечер. В Сочельник они справляют свой ежегодный праздник. В Сочельник каждый обитатель загробного мира, из тех, кто хоть что-нибудь собой представляет (впрочем, о духах следовало бы говорить: каждый, кто *ничего* собой не представляет) – будь то мужчина или женщина, выходит на свет Божий себя показать и людей посмотреть. Каждый красуется своим саваном, своим похоронным нарядом, критикует чужие костюмы и посмеивается над цветом лица других замогильных жильцов.

Своего предрождественского парада – так, я уверен, называют они между собой это событие – все жители царства духов несомненно дожидаются с большим нетерпением.

Особенно готовятся к нему высшие слои общества: злодейки-графини, зарезанные ими бароны, а также пэры с генеалогией от Вильгельма Завоевателя, успевшие придушить кого-нибудь из родичей и кончившие буйным помешательством. В эту пору в мире духов повсеместно и с большим усердием разучиваются глухие стоны и дьявольское хихиканье. Неделями, наверно, репетируются душераздирающие крики и жесты, от которых кровь леденеет в жилах. Заржавленные цепи и окровавленные кинжалы вытаскиваются и приводятся в пригодный для работы вид, а покровы и саваны, заботливо спрятанные с прошлогоднего парада, вытряхиваются, чинятся и проветриваются.

Да, хлопотливая ночка в царстве духов эта ночь на двадцать пятое декабря!

Вы, конечно, успели заметить, что непосредственно в рождественскую ночь духи никогда не показываются. Видимо, волнения плохо отражаются на их здоровье и с них вполне хватает Сочельника. Вероятно, целую неделю после Сочельника духи-джентльмены жалуются на головную боль и торжественно клянутся, что с будущего года раз и навсегда прекратят всякие рождественские выступления, а призрачные леди становятся истеричными и колкими, то беспричинно заливаются слезами, то, не говоря ни слова, покидают

комнату, стоит только с ними заговорить.

Привидения, которым нет надобности сохранять великосветские традиции, привидения среднего сословия, время от времени, насколько я слышал, появляются и в другие вечера, в свободное время. В канун Дня всех святых и в ночь под Ивана Купалу некоторые из них склонны отмечать своими посещениями какие-нибудь события местного значения, – например, годовщину повешения своего или чужого дедушки. Или появляются, чтобы предсказать какое-либо несчастье.

Ах, как он любит напророчить беду, этот рядовой британский призрак! Пошлите его предсказать кому-нибудь горе, и он просто вне себя от счастья. Дайте нашему призраку возможность ворваться в безмятежную семью и перевернуть там все вверх дном, пообещав членам семьи в самое ближайшее время похороны, разорение, бесчестье или иное непоправимое зло, о котором любой здравомыслящий человек не желал бы узнать раньше, чем оно свершится, – и наш дух примется за дело, сочетая чувство долга с большим личным удовольствием.

Он бы никогда не простил себе, если б с кем-нибудь из его потомков приключилась беда, а он за несколько месяцев до того не покачался бы ночью на спинке кровати будущей жертвы или не выкинул бы какую-нибудь чертовщину на лужайке перед домом.

В любое время года появляются также очень молодые или

очень совестливые духи, знающие кое-что о потерянном завещании или о нерасшифрованном письме; если эта тайна тяготит их, они будут бродить и бродить без конца. Есть еще разновидность щепетильных духов, – например, дух чудака, возмущенного тем, что его похоронили на мусорной свалке или в деревенском пруду. Такой субъект способен будоражить по ночам весь приход, пока кто-нибудь не устроит ему новые похороны, на этот раз по первому разряду.

Но все это исключения. Как я уже сказал, обычный благопристойный дух показывается раз в год в Сочельник и вполне удовлетворяется этим.

Почему из всех ночей в году привидения избрали именно Сочельник, я никак не могу понять. Обычно эта ночь – одна из самых неприятных для прогулок, – холодная, ветреная и сырая.

Под Рождество у каждого и без того достаточно хлопот с живыми родственниками, которых набирается полон дом, а тут еще втираются призраки покойных.

Наверное, в самом воздухе Рождества, в его спертой, душевной атмосфере есть нечто призрачное, нечто, вызывающее на свет духов, подобно тому, как летние дожди привлекают на поверхность земли лягушек и улиток.

И не только сами духи постоянно напоминают о себе в Сочельник, но и живые люди в канун Рождества всегда сидят и рассуждают о них. Стоит только пяти или шести лицам, говорящим на родном для них английском языке, собраться

в предрождественскую ночь у камина, как они непременно начинают рассказывать друг другу разные истории о призраках. Ничто нас так не привлекает в Сочельник, как правдивые рассказы друзей о привидениях. В этот веселый семейный праздник мы любим рассуждать о могилах, мертвецах, убийствах и пролитой крови.

Опыт показывает, что во встречах самых разных людей с призраками очень много общего, но это не наша вина, – это вина духов, которые никогда не ставят новых спектаклей, а придерживаются старого, проверенного шаблона.

И поэтому, если вы однажды в Сочельник побывали в гостях и слышали рассказы шести лиц об их приключениях с привидениями, дальнейшие истории ничего нового вам уже не дадут. Это все равно что присутствовать на представлении двух бытовых комедий подряд или читать один за другим два юмористических журнала. От повторения вы испытываете лишь невыносимую скуку.

Вы всегда услышите о молодом человеке, который приехал на рождественские праздники погостить в усадьбу к своим знакомым. В Сочельник ему отводят комнату в западном крыле дома. Глубокой ночью дверь его комнаты тихонько открывается и появляется кто-то, чаще всего молодая дама в ночном одеянии. Она не торопясь входит и садится прямо на постель. Хотя молодой человек никогда раньше ее не видел, он полагает, что это родственница хозяев или гостя, которая не могла заснуть, почувствовав себя одинокой, и зашла к

нему немножко поболтать и рассеяться. У него не возникает даже мысли, что это привидение, он слишком простодушен. Она не произносит ни слова, а когда он всматривается пристальней – ее уже нет.

На следующее утро молодой человек рассказывает о ней за завтраком и спрашивает каждую из дам, не она ли была его посетительницей. Но все они уверяют, что он ошибся. Смертельно бледный хозяин дома просит его не говорить больше на эту тему, что крайне удивляет молодого гостя.

После завтрака хозяин отводит его в сторону и объясняет, что к нему являлся призрак дамы, которую зарезали на той самой кровати, где он спал, или которая на этой кровати зарезала кого-то другого, – это, впрочем, значения не имеет. Вы можете стать духом, либо собственноручно прикончив кого-нибудь, либо став жертвой кровавого преступления, – как вам больше нравится. Призрак-убийца как будто более популярен, но, с другой стороны, вы сумеете с большим эффектом пугать людей, если вы призрак убитого, ибо тогда вы можете показывать свои раны и издавать жалобные стоны.

Следует упомянуть еще о скептическом госте. Кстати, главным действующим лицом этих историй всегда является гость. Семейное привидение мало интересуется членами своей семьи, зато оно очень любит посещать гостя, – например, такого, который, выслушав рассказ хозяина об имеющихся в доме привидениях, смеется, говорит, что несколько не верит в существование духов и берется в ту же ночь

лечь спать в посещаемой призраками комнате, если его туда отведут.

Все общество умоляет его не быть таким безрассудным, но он, как всякий дурак, упорствует и отправляется в желтую комнату (или комнату другого цвета, в зависимости от обстоятельств) с легким сердцем и зажженной свечкой, желает всем спокойной ночи и запирает за собой дверь.

На следующее утро его волосы белы как снег.

Он никому ничего не говорит о том, что ему довелось увидеть. Это чересчур страшно.

Встречается также дерзкий гость, который, увидев таинственного пришельца, сразу понимает, что это – привидение. Он наблюдает за тем, как оно появляется и исчезает за деревянной панелью, после чего преспокойно засыпает, поскольку привидение, по-видимому, не склонно вернуться, и, следовательно, нет смысла мучить себя бессонницей.

Он никому не рассказывает о встрече с духом, опасаясь напугать остальных гостей: некоторым людям привидения очень действуют на нервы. Он решает проверить, не появится ли призрак в следующую ночь.

И когда привидение действительно появляется, он встает с постели, одевается, причесывается, следует за ним и делает открытие: оказывается, между комнатой, где он спал, и пивным погребом существует потайной ход, которым, очевидно, нередко пользовались в проклятые старые времена.

Следующий популярный персонаж в эпосе о привидении-

ях – молодой человек, просыпающийся глубокой ночью, как от толчка, с каким-то странным ощущением. Он видит у самого изголовья своего богатого дядюшку, убежденного холостяка. Дядюшка улыбается жалостной улыбкой и растворяется в воздухе. Молодой человек встает и смотрит на часы. Оказывается, часы остановились на половине пятого, он накануне забыл их завести.

На другой день он наводит справки и узнает, что, как ни странно, богатый дядя, чьим единственным племянником, а значит и наследником, он до сих пор был, женился на вдове с одиннадцатью детьми ровно без четверти двенадцать два дня тому назад.

Молодой человек не делает попыток объяснить необычайное происшествие, он только уверяет, что все это – чистейшая правда.

А вот еще случай в несколько другом роде. Поздно вечером, возвращаясь домой после обеда у франкмасонов, некий джентльмен видит, что в полуразрушенном аббатстве, мимо которого лежит его путь, что-то светится. Он подкрадывается к двери, заглядывает в замочную скважину и видит, что призрак «серой монашки» целуется с призраком «коричневого монаха».

Это зрелище его так шокирует и пугает, что он, не сходя с места, теряет сознание и лежит всю ночь напролет, прильнув к двери аббатства, онемевший и окоченевший, с зажатым в руке ключом от собственной парадной двери. В

таким виде его обнаруживают и приводят в чувство.

Все эти события не только происходят в Сочельник, но и рассказываются в Сочельник. В другие вечера всякие беседы о духах не укладываются в традиции английского общества на нынешней стадии его развития.

Вот почему, представляя вашему вниманию печальные, но подлинные истории о встречах с привидениями, излишне сообщать людям, изучающим англосаксонскую литературу, что все это происходило и рассказывалось в Сочельник.

Тем не менее я это делаю.

Как рассказывались эти истории

Был Сочельник. Мы были в гостях у моего дяди Джона в его доме на Лэбурнум-гров, 4.

Что-то слишком часто в моей повести повторяется слово «Сочельник». Я сам это замечаю, и это начинает надоедать даже мне. Но пока я не вижу, как этого избежать. Итак, был Сочельник. Мы сидели в тускло освещенной гостиной (рабочие газовой компании как раз объявили забастовку), и огонь в камине, то вспыхивавший, то снова угасавший, бросал причудливые тени на яркие обои, а снаружи, на пустынной улице, хозяйничал безжалостный ураган, и ветер, как неумиротворенный призрак, с громкими стенаниями носился по площади и, рыдая и причитая, кружился вокруг молочной лавки.

Мы поужинали и сидели полукругом у камина, курили и беседовали.

Ужин у нас был отменный, – можно смело сказать, что поужинали мы на славу. Впоследствии в связи с этими рождественскими праздниками у нас произошли семейные неурядицы. Поползли слухи о том, как мы встречали Рождество, причем говорили главным образом о моей роли на этом вечере. И тут имели место такие замечания, которые нельзя сказать, чтобы удивили меня, – я знаю свою родню не первый день, – но были мне просто неприятны. Что же касается

тети Марии, я даже не берусь сказать, когда я снова захочу с ней встретиться. Я считал и считаю, что тетя Мария и без того достаточно хорошо меня знает.

Но хотя ко мне отнеслись несправедливо, – жестоко и несправедливо, как я позднее вам докажу, – это не повлияет на справедливость моего отношения к другим, в том числе к тем, кто позволил себе столь оскорбительные измышления по моему адресу.

Я отдаю должное кулинарным изделиям тети Марии, ее горячему пирогу с телятиной, омарам с гренками, подогретым ватрушкам, сделанным по ее особому рецепту (в холодных ватрушках, по-моему, нет той прелести, они куда менее ароматны). Когда эти ватрушки омываются заветным старым элем моего дядюшки Джона, как не признать их отменно вкусными! Я отдал дань тому и другому тогда же, без промедления, – сама тетя Мария должна была это подтвердить.

После ужина мой дядя сварил пунш с виски. Пуншу я тоже отдал дань, сам дядя Джон признал это. Ему приятно видеть, сказал он, что мне нравится его изделие.

Тетушка вскоре после ужина пошла спать, оставив с дядей Джоном целую компанию – приходского священника, старого доктора Скробблса, мистера Сэмюэля Кумбеса, Тедди Биффлса и меня. Мы были единодушны в том, что идти спать еще рано, так что дядя сварил еще одну чашу пунша, и мне кажется, что все мы воздали ей по справедливости, – по крайней мере, знаю, что я наверняка воздал. Это моя страсть

– я имею в виду стремление к справедливости.

Мы посидели еще у камина, и тогда доктор для разнообразия сварил пунш с джином, хотя лично я не почувствовал большой разницы. Но, как говорится, все к лучшему, и мы были счастливы и весьма любезны друг с другом.

Весь вечер дядя Джон рассказывал нам очень забавную историю. Да, это была действительно презабавная история! Сейчас я уже забыл, о ком и о чем там говорилось, но помню, что тогда она доставила мне много удовольствия – кажется, еще никогда в жизни я так не смеялся. Очень странно, что я не могу припомнить эту историю, хотя он рассказывал ее нам четыре раза. И мы сами виноваты, что он не успел рассказать ее в пятый раз. Потом доктор спел очень остроумную песню, в которой изображал разных домашних животных. Он немножко путал их голоса. Он ржал, подражая петуху, и кукарекал, когда надо было хрюкать. Но мы все равно понимали, кого он представляет.

Я начал было рассказывать весьма занимательный анекдот, но меня несколько озадачило, что, судя по моим наблюдениям, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Это было довольно-таки невежливо со стороны всех остальных, но вскоре я догадался, что я все время говорил мысленно, сам с собой, вместо того чтобы говорить вслух, и, конечно, никто не подозревал, что я что-то рассказываю. Все они, возможно, удивлялись моей красноречивой мимике и оживленному выражению лица. Любопытнейшее заблужде-

ние! Со мной никогда еще не приключалось такой штуки.

Затем наш приходский священник стал показывать карточные фокусы. Он спросил нас, знаем ли мы игру под названием «Три листика». Он сказал, что с помощью этой проделки подлые, бессовестные личности, завсегда и скачек и им подобные субъекты, обжуливают легковверных молодых людей, оставляя их без гроша. Он сказал, что это очень простой фокус – все зависит от ловкости рук. Рука действует так быстро, что глаз не успевает уследить.

Он решил показать нам, как проделывается это жульничество, чтобы мы были предупреждены и не стали жертвой какого-нибудь проходимца. Он взял дядину колоду карт из чайницы, выбрал три карты, одну фигурную и две фоски, сел на коврик перед камином и стал объяснять, что он собирается делать. Он сказал:

– Я беру в руки эти три карты – вот так – и показываю их вам. А затем я спокойненько кладу их рядышком на ковер, лицом вниз, и предлагаю вам указать фигурную карту. И вы будете уверены, что знаете, где она лежит.

И он все это проделал.

Старый мистер Кумбес, один из наших приходских старост, сказал, что фигурная карта находится посередине.

– Это только показалось вам, – сказал священник с улыбкой.

– Вовсе не показалось, – возразил мистер Кумбес. – Я вам говорю, что она посередине. Ставлю полкроны, что это сред-

няя карта.

– Вот вы и попались! Это как раз то, о чем я вас предупреждал, – сказал наш священник, обращаясь ко всем нам. – Вот именно таким путем и заманивают наивных молодых людей, о которых я вам рассказывал, и вытаскивают деньги из их карманов. Они уверены, что угадают карту, им кажется, что они ее видели. Они не отдают себе отчета в том, что ловкое движение рук опережает самый острый глаз, и на этом-то они и попадают.

Он сказал, что знал молодых людей, отправлявшихся с утра на лодочные гонки или соревнования по крикету с хорошим запасом фунтов стерлингов в кармане. Уже через несколько часов они возвращались домой без гроша, потеряв все благодаря этой ужасной, скверной игре.

Он сказал, что, пожалуй, возьмет полкроны мистера Кумбеса, – это послужит для него полезным уроком и, может быть, спасет его деньги в будущем. Да, он возьмет эти два с половиной шиллинга и внесет их в фонд по обеспечению неимущих одеялами.

– Пусть моя судьба вас не волнует, – ответил ему старый мистер Кумбес. – Только смотрите, как бы вам самим не пришлось позаимствовать два с половиной шиллинга из одеяльного фонда!

И он положил свои деньги рядом со средней картой и перевернул ее.

Что бы вы думали, – это действительно была дама червей!

Мы все были очень поражены, особенно сам священник.

Он сказал, что, впрочем, действительно так иногда бывает: человек может поставить на правильную карту, но лишь по чистой случайности.

А еще он сказал, что это самое большое несчастье, какое только может произойти с человеком (ах, если бы люди понимали это!). Ведь если человек попытался играть и выиграл, он приобретает вкус к этому так называемому развлечению, его манит рискнуть еще и еще раз, пока он не выходит из игры обобраным и разоренным.

Затем он метнул карты снова. Мистер Кумбес сказал, что на этот раз дама червей лежит рядом с угольным ведром, и пожелал поставить на карту пять шиллингов.

Мы стали смеяться над ним, пробовали отговорить его. Он не желал слушать наших увещаний и настаивал на своем праве катиться по наклонной плоскости.

Наш священник сказал, что в таком случае – хорошо! Он предупреждал – и умывает руки. Если он (мистер Кумбес) твердо решил быть дураком до конца, пусть он (мистер Кумбес) так и поступает.

Священник сказал, что со спокойной совестью возьмет эти пять шиллингов и тем самым покроет образовавшуюся недостачу в фонде на покупку одеял.

Итак, мистер Кумбес положил две монеты по полкроны около карты, лежавшей рядом с угольным ведром, и перевернул ее.

И что бы вы думали, – она снова оказалась дамой червей!

После этого дядя Джон поставил целый флорин и тоже выиграл.

И затем мы все стали играть, и все выиграли. Все, за исключением священника, разумеется. Он провел очень плохо эти четверть часа. Я никогда еще не видел, чтобы кому-нибудь так не везло в карты. Он ни разу не выиграл.

Потом мы выпили еще немного пунша, причем, приготавливая его, дядя сделал очень забавную ошибку: он забыл налить туда виски. Ах, как мы потешались над ним! В виде штрафа мы заставили его влить в пунш двойную порцию виски.

Да, в тот вечер мы основательно повеселились.

А затем каким-то образом мы перескочили на разговоры о привидениях. Потому что следующее, что я припоминаю, это то, как мы рассказывали друг другу всевозможные истории с привидениями.

Рассказ Тедди Биффлса

Первым начал Тедди Биффлс. Я изложу его историю в точности так, как он нам ее рассказал.

(Но не спрашивайте, как мне удалось сохранить каждое слово, – стенографировал ли я его речь или получил от него готовую для опубликования рукопись – я вам все равно не скажу. Это производственная тайна.)

Биффлс назвал свою историю

Джонсон и Эмилия, или Преданный дух

Когда я впервые встретился с Джонсоном, я был еще подростком. В ту пору я вернулся домой на рождественские каникулы, и по случаю Сочельника мне разрешили лечь спать довольно поздно. Открывая дверь в свою маленькую комнату, я очутился лицом к лицу с Джонсоном, который выходил оттуда. Он проструился сквозь меня и, издав долгий и жалобный стон, исчез через лестничное окно.

На мгновение я опешил, – я ведь был в то время школьником и еще ни разу не видел призраков. Я заколебался – ложиться спать в этой комнате или нет. Но потом вспомнил, что привидения опасны только грешникам, а потому лег, хорошенько закутался и заснул.

Наутро я сказал отцу, что видел в своей комнате приви-

дение.

– Да, это старина Джонсон, – ответил отец. – Можешь его не бояться, он тут живет.

И он рассказал мне историю этого страдальца. Оказывается, Джонсон при жизни, еще в ранней молодости, полюбил дочку прежнего арендатора нашего дома. Это была девушка изумительной красоты. Звали ее Эмилия, но ее фамилию отец не помнил.

Джонсон был слишком беден, чтобы жениться на ней. Он нежно поцеловал ее на прощанье, обещал скоро вернуться и отправился в Австралию сколачивать состояние.

Но тогда Австралия еще не была тем, чем стала впоследствии. Путешественников в те отдаленные времена было мало, попадались они редко, и если удавалось изловить кого-нибудь на большой дороге, то имущество, обнаруженное на его трупе, часто не оправдывало расходов на самые скромные похороны. Поэтому Джонсону понадобилось почти двадцать лет, чтобы разбогатеть.

Выполнив тем не менее поставленную перед собой задачу и успешно избежав встреч с полицией, он благополучно выбрался из Австралии и вернулся в Англию, полный радостных надежд, предвкушая свидание со своей невестой.

Он добрался до ее дома, но нашел его заброшенным и погруженным в тишину. Соседи ничего не могли сообщить, кроме того, что в одну туманную ночь вся семья Эмилии таинственно исчезла и никто с тех пор их не встречал и ничего

о них не слышал, хотя и владелец дома, и местные торговцы не раз пытались наводить о них справки.

Бедный Джонсон, вне себя от горя, стал искать возлюбленную по всему свету. Но он не нашел ее и после многих лет бесплодных поисков возвратился коротать одинокую старость в том самом доме, где он и Эмилия в счастливом прошлом провели столько безмятежных вечеров.

Он жил здесь совсем один, бродил по пустым комнатам, плакал и звал свою Эмилию, умоляя ее вернуться. И когда бедняга скончался, дух его продолжал делать то же самое.

Как раз в то время, рассказывал отец, мы и взяли дом в аренду, и агент, оформляя договор, сбросил из-за привидения десять фунтов арендной платы в год.

После этого я, как и все домашние, на каждом шагу встречал Джонсона в любое время ночи. Сначала мы чурались его, сторонились, давая ему дорогу, но потом, когда свыклись и убедились, что нет никакой нужды в церемониях, мы стали попросту проходить сквозь него. Нельзя сказать, чтобы он нам очень мешал.

В общем, он был любезным и безобидным старым привидением, и все мы сочувствовали ему. В особенности умилялись женщины: их трогала его загробная преданность. Но с течением времени привидение стало немного докучать нам. Оно, видите ли, было уж чересчур печальным. В нем не было ничего приветливого, отрадного. Вам было его жаль, но вместе с тем оно вас раздражало. Оно было способно, на-

пример, часами сидеть на ступеньках и лить слезы, беспрерывно всхлипывая. Стоило только проснуться ночью, и вы слышали доносившиеся откуда-нибудь вздохи и стоны, доказывавшие, что оно слоняется по комнатам и коридорам. Легко ли заснуть в таких условиях! А когда у нас собирались гости, оно имело обыкновение усаживаться за дверью той самой комнаты, где мы веселились, и без умолку рыдать и причитать. Вреда оно нам не причиняло, но тень его скорби омрачала нашу жизнь.

– Мне здорово опротивел этот старый идиот, – сказал однажды вечером мой отец (глава нашей семьи иногда выражался довольно резко, особенно если вывести его из себя). Накануне Джонсон был надоедливее, чем обычно, и испортил ему приятную партию в вист, сидя в каминной трубе и охая так громко, что все партнеры стали забывать, какая масть козырная и какие карты вышли из игры. – Нам надо избавиться от него так или иначе. Хотел бы я знать, как это сделать.

– Ну, – сказала моя мама, – можешь мне поверить, он не оставит наш дом, пока не найдет могилу своей Эмилии. Это ее он ищет. Найди могилу Эмилии, приведи его туда, и ты увидишь, он будет чувствовать себя там как дома. Помяни мое слово.

Эта мысль показалась нам здоровой, но затруднение заключалось в том, что все мы были в таком же неведении о местонахождении могилы Эмилии, как и сам бывший ми-

стер Джонсон. Отец уже склонялся к тому, чтобы подsunуть бедному созданию могилу какой-нибудь другой Эмили, но судьбе не прикажешь: выяснилось, что на много миль вокруг не похоронена ни одна Эмилия. Никогда еще я не видел местности, до такой степени лишенной усопших Эмилией.

Тут я стал думать, как быть, и выпалил такое предложение:

– Нельзя ли состряпать для старого хрыча что-нибудь похожее на могилу? Он, кажется, простодушное существо, этот Джонсон, его нетрудно будет околпачить. Мы ничего не потеряем, если сделаем попытку.

– Клянусь Юпитером, так мы и сделаем! – воскликнул мой отец, и уже на следующее утро он позвал рабочих, которые сделали в глубине фруктового сада холмик с надгробным камнем, украшенным следующей надписью:

Светлой памяти Эмили.

Ее последние слова были:

«Скажите Джонсону, что я его люблю».

– Это наверняка проберет его, – задумчиво проговорил мой отец, обозревая сие произведение искусства в законченном виде. – Во всяком случае, я надеюсь, что так оно и будет.

Успех был полный.

Мы заманили его в сад в ту же ночь, и тут, друзья, произошла невообразимо трогательная сцена. Надо было видеть, как Джонсон бросился к надгробному камню и зарыдал. Глядя на него, отец и старший садовник Скиббинс плакали, как

дети.

Джонсон больше никогда не попадался нам в комнатах. Теперь он проводит каждую ночь на могиле, проливает там слезы и, по-видимому, вполне счастлив.

Можно ли его видеть? О да, приезжайте к нам, и я поведу вас туда и покажу его. Обычно его можно застать от десяти вечера до четырех часов ночи, ну а по субботам – с десяти до двух.

История, рассказанная доктором

Молодой Биффлс вложил много чувства в свой рассказ, и я горько плакал, слушая его. Мы все призадумались, и я заметил, что даже старый доктор украдкой вытирал слезу. Не смущаясь этим, дядя Джон сварил еще одну чашу пунша, и постепенно наша скорбь рассеялась.

Спустя некоторое время доктор почти совсем развеселился и рассказал нам о призраке одного из своих пациентов.

При всем желании я не могу передать вам его истории целиком. Все потом признали, что это был лучший из рассказов, самый мрачный и страшный, но я толком его не понял, — он был какой-то сбивчивый.

Начал доктор хорошо, потом что-то там произошло, и вдруг наступил конец. Не могу понять, что случилось с серединой его рассказа.

В самом конце — вот это я хорошо помню — кто-то что-то нашел, и это напомнило мистеру Кумбесу очень любопытный случай, который произошел однажды на старой мельнице, некогда находившейся в аренде у его шурина.

Мистер Кумбес сказал, что сейчас расскажет эту историю, и прежде чем кто-нибудь успел его остановить, он уже начал. Он сказал, что его история называется:

Загадочная мельница, или Развалины счастья

– Надеюсь, все вы знаете моего шурина, мистера Перкинса, – начал мистер Кумбес, вынимая изо рта свою длинную глиняную трубку и укладывая ее за ухо (мы не были знакомы с его шурином, но не стали спорить, чтобы не терять времени), – и знаете, конечно, также, что он однажды взял в Суррее в аренду мельницу и перебрался туда на жительство.

Эта самая мельница много лет тому назад принадлежала какому-то зловредному старикашке, известному скряге, который там и умер, спрятав, по слухам, все свои деньги в одном из укромных уголков мельницы. Вполне естественно, что каждый, кто после него жил на мельнице, пытался добраться до этого клада, но безуспешно. Местные всезнайки говорили, что никто и не найдет скрытых сокровищ, пока дух скупого мельника не проникнется симпатией к одному из новых арендаторов и не откроет ему свою тайну.

Мой шурин не придавал особого значения этим разговорам, считая их болтовней досужих старух, и, в противоположность своим предшественникам, не делал никаких попыток обнаружить скрытые богатства.

– Если раньше дела шли так же, как теперь, – говорил мой шурин, – мне непонятно, каким образом мельник, будь он последним скрягой, мог что-нибудь накопить; во всяком слу-

чае, столько, чтобы ради этого стоило затевать поиски.

Но все-таки он не мог совсем выбросить из головы мысль об этом кладе.

Однажды вечером он пошел спать. Ничего необыкновенного тут нет, это ясно. Он частенько ложился с вечера пораньше. Удивительно другое: как только на церковной колокольне пробило двенадцать часов, мой шурин проснулся, словно от толчка, и почувствовал, что заснуть больше не может.

Джо (так его зовут) приподнялся и сел на постели. Он посмотрел вокруг и увидел, что в ногах кровати притаилось нечто, укрытое густым сумраком.

Потом оно передвинулось в полосу лунного света, и мой шурин увидел сморщенного старикашку в коротких лосинах и с волосами, заплетенными в косичку.

Мгновенно в мозгу Джо вспыхнуло воспоминание о спрятанном золоте и старом скряге.

«Он пришел показать мне, где зарыт клад», – подумал мой шурин; он тут же решил, что не истратит все деньги только на себя, а уделит и другим маленькую частицу.

Призрак двинулся к двери. Мой шурин надел брюки и последовал за ним. Дух спустился вниз, в кухню, скользнул к плите, повздыхал и исчез.

Утром Джо позвал двух печников. Они сняли трубы и разобрали плиту, между тем как он стоял рядом, с мешком из-под картошки наготове, чтобы складывать туда золото.

Вместе с плитой они разрушили половину стены, но не нашли даже медной монеты. Мой шурин не знал, что и подумать.

На следующую ночь старичок появился снова, и снова повел Джо за собой на кухню. Но на этот раз он не пошел к плите, он остановился посреди кухни и стал вздыхать.

«О, теперь мне понятно, чего он хочет, – сказал самому себе мой шурин, – клад у него под кухонным полом. Зачем же этот старый идиот в прошлый раз торчал у плиты и делал вид, что надо искать в трубе?»

Весь следующий день они взламывали пол в кухне, но единственное, что им удалось найти, это трехзубую вилку, да и то со сломанной ручкой.

На третью ночь дух явился как ни в чем не бывало и в третий раз направился в кухню. Придя туда, он многозначительно посмотрел на потолок и исчез.

– Э, да он и на том свете, кажется, ума не набрался, – бормотал Джо, торопливо возвращаясь к себе в постель. – Помоему, он мог бы сразу показать настоящее место.

Все же сомнений не было, и чтобы достать клад сверху, они сразу после завтрака принялись разбирать потолок. Когда от потолка не осталось ни дюйма, стали снимать пол верхней комнаты.

Там они нашли приблизительно столько же сокровищ, сколько их можно найти в пустой литровой банке.

На четвертую ночь, когда привидение явилось с обычным

визитом, мой шурин вышел из себя и швырнул в него сапогом. Сапог прошел сквозь призрак и разбил висевшее на стене зеркало.

На пятую ночь, когда Джо, по установившейся у него привычке, проснулся ровно в полночь, дух стоял возле него в удрученной позе и с самым жалобным выражением лица. Умоляющий взгляд его больших печальных глаз совершенно расстроил моего шурина.

«Кто его знает, – подумал он, – может, этот пустоголовый субъект искренне хочет открыть свою тайну. Может быть, он просто забыл, куда засунул свое богатство, и теперь старается вспомнить. Послушаю его еще разочек».

Увидя, что Джо собирается следовать за ним, дух благодарно заулыбался и повел его на чердак, а там поднял палец вверх и мгновенно растаял.

– Ну, на этот раз он попал в точку, надеюсь, – сказал мой шурин, и наутро они взялись стаскивать с мельницы крышу.

Понадобилось целых три дня, чтобы добросовестно снять всю крышу, но единственное, что при этом нашли, было птичье гнездо, после чего пришлось покрыть мельницу просмоленным брезентом, чтобы укрыться от дождя.

Вы, может быть, подумаете, что это вылечило беднягу Джо от поисков клада? Ошибаетесь!

Он сказал, что за всем этим должно скрываться нечто реальное, иначе привидение перестало бы появляться. Кроме того, зайдя уже так далеко, он решил идти до конца и разга-

дать загадку, чего бы это ему ни стоило.

И вот каждую ночь он вставал с постели и послушно брел за бесплотным старым обманщиком по всему двору. Каждую ночь старикашка указывал ему другую точку, и на следующий день мой шурин приступал к сломке указанного места, где, очевидно, был замурован клад. К концу третьей недели на мельнице не осталось ни одной комнаты, пригодной для жилья. Все стены были снесены, все полы вынуты, в каждом потолке зияла дыра.

А затем, так же внезапно, как и появился, дух прекратил свои посещения, и моему шурина ничто уж больше не мешало заняться в свободное время восстановительными работами.

Что заставило эту старую образину так нелепо подшутить над семейным человеком и честным налогоплательщиком? Ах, именно на этот вопрос я не могу вам ответить.

Некоторые утверждали, что дух коварного старика проделал все это в отместку за то, что мой шурин сначала в него не поверил. А другие считали, что призрак был при жизни вовсе не мельником, а водопроводчиком или стекольщиком, и ему приятно было видеть, как мельницу портят и разрушают. Но толком никто ничего не знал.

История, рассказанная священником

Мы выпили еще немного пунша, а затем священник рассказал нам свою историю. Я никак не мог разобраться в ней и потому не могу ее пересказать. Никто из нас не мог в ней разобраться. С точки зрения содержания это была довольно занимательная история. Сюжетов в ней было необыкновенное множество, а событий хватило бы на дюжину романов. Никогда еще я не слышал рассказа, где было бы столько разных происшествий, случившихся с таким количеством разнообразных персонажей.

Мне представляется, что каждый человек, которого наш священник когда-либо и где-либо видел или о котором слышал, попал в этот рассказ. В нем были сотни персонажей. Каждые пять секунд он вводил в нить рассказа новую коллекцию действующих лиц на фоне совершенно новых событий.

Рассказ развивался примерно так:

– И тогда мой дядя побежал в сад и взял там свое ружье, но привидения там, конечно, не было, и Скроггинс сказал, что он в него не верит.

– Не верит в кого именно? И кто такой Скроггинс?

– Скроггинс! Ах, вы не знаете? Это тот, другой, – понимаете, это его жена...

– Какая жена? Откуда она взялась и что ей нужно?

– Так вот об этом я вам и рассказываю. Это она нашла шляпу. Она приехала в Лондон со своей двоюродной сестрой, которая является моей невесткой, а другая племянница вышла замуж за человека по фамилии Эванс, а когда все кончилось, Эванс понес коробку к мистеру Джекобсу, потому что отец Джекобса видел этого молодого человека живым, а когда он умер, Джозеф...

– Подождите, оставьте в покое Эванса с его коробкой; что случилось с вашим дядей и ружьем?

– Ружьем! Каким ружьем?

– Ну, ружьем, которое ваш дядя держал в саду и которого там не оказалось. Что он сделал с этим ружьем? Может быть, он застрелил из него кого-нибудь из этих Джекобсов и Эвансов, Строггинсов и Джозефов? Если так, то это благое дело, и мы с восторгом послушаем о нем.

– О нет, что вы, это было бы невозможно, его ведь заживо замуровали в стену, вы же помните, а когда Эдуард IV говорил об этом с аббатом, моя сестра сказала, что, принимая во внимание состояние ее здоровья, это невозможно, потому что может пострадать ребенок. И вот они называли его Горацио, по имени ее собственного сына, который был убит при Ватерлоо еще до своего рождения, и лорд Напир сам сказал, что...

– Скажите, а вы сами имеете представление, о чем вы рассказываете? – спросили мы его тут.

Он сказал «нет», но поручился, что каждое его слово –

чистейшая правда, потому что его родная тетка все это видела собственными глазами.

После этого мы его с головой накрыли скатертью, и он заснул.

Затем стал рассказывать мой дядя.

Он предупредил, что его история – самая правдивая из всех.

Призрак голубой спальни

– Я вовсе не хочу нагонять на вас страх, мальчики, – начал мой дядя чрезвычайно многозначительным, чтобы не сказать зловещим тоном, – и если вы предпочитаете оставаться в неведении, я вам не скажу ничего, но если говорить начистоту, этот самый дом, где мы с вами сейчас находимся, тоже населен привидениями.

– Что вы говорите! – воскликнул мистер Кумбес.

– Говорю то, что вы слышите, а если не слышите, то нечего просить меня говорить, – ответил мой дядя с некоторым раздражением. – Что за привычка болтать глупости! Говорю вам, что в этом доме нечисто. В голубой спальне (комнату рядом со спальней в доме моего дяди принято называть голубой, потому что там умывальные принадлежности этого цвета) каждый Сочельник появляется дух ужасного грешника, который когда-то под Рождество убил уличного певца куточком каменного угля.

– Как ему удалось? – спросил мистер Кумбес с живейшим интересом. – Это, наверное, не так просто?

– Не могу вам сказать, как именно он это сделал, – ответил мой дядя. – Он не объяснял нам самой техники. Полагают, что певец остановился как раз перед его домом и начал петь какую-то балладу, и, когда он открыл рот, чтобы взять верхнее си-бемоль, этот злодей швырнул из окна куском угля, который попал певцу в рот, застрял в горле и задушил его.

– Для такого дела нужно метко бросать, интересно как-нибудь попробовать свои силы, – задумчиво пробормотал мистер Кумбес.

– Увы, это было не единственным его преступлением, – прибавил мой дядя. – Еще раньше он отправил на тот свет одного оркестранта, игравшего соло на корнет-а-пистоне.

– Скажите пожалуйста! – воскликнул мистер Кумбес. – Неужели и это факт?

– Конечно, факт, – сердито отрезал мой дядя. – По крайней мере, этот факт не менее достоверен, чем все подобные ему. Просто вы сегодня слишком придирчивы. Говорю вам, обстоятельства дела не оставляли никакого сомнения. Бедный корнетист жил в этом районе что-то около месяца, и, по отзывам старого мистера Бишопа, тогдашнего владельца «Веселых Песочников», был самым старательным и работающим корнетистом, какого тот когда-либо встречал. Он мне сам рассказывал его историю и утверждал, что этот музыкант знал только две мелодии, но даже если бы он знал сорок, то

не мог бы играть ни с большей силой, ни большее количество часов в день. Две пьесы, которые он исполнял, были «Анни Лори» и «Милый дом, родной мой дом», а что касается его искусства, то, по словам мистера Бишопа, даже ребенок разобрался бы в том, какое из двух произведений он играет.

Этот музыкант, бедный и одинокий служитель муз, каждый вечер играл два часа на улице прямо против нашего дома. И однажды вечером многие видели, как корнетист, получив, по-видимому, приглашение, зашел в дом, но никто не видел, что он оттуда вышел.

– А соседи не предлагали вознаграждение тому, кто его найдет? – спросил мистер Кумбес.

– Никто не предложил и полпенса, – ответил мой дядя. – А на следующее лето, – продолжал он, – к нам приехал духовой оркестр, собиравшийся – так они сообщили нам в день приезда – пробыть у нас до осени. На другой день музыканты в полном составе – все здоровые, веселые ребята – были приглашены на обед к этому закоренелому грешнику. И после этого, пролежав целые сутки в постели, вся компания оставила наш город в самом жалком состоянии. Врач нашего прихода, оказывавший им помощь, заявил, что весьма сомнительно, сможет ли кто-нибудь из них впредь сыграть хоть одну арию.

– А вам не известно, чем он их угощал? – спросил мистер Кумбес.

– К несчастью, нет, – ответил мой дядя, – но главным блю-

дом, говорят, был свиной паштет, купленный в станционном буфете.

– Я уже забыл об остальных преступлениях этого чудовища, – продолжал мой дядя. – Раньше я все их помнил, но память у меня теперь не та, что раньше. Впрочем, вероятно, я не погрешу против истины, если выскажу предположение, что он несколько причастен к последующим похоронам одного джентльмена, который музицировал, перебирая струны арфы пальцами ног, и что он также несет некоторую ответственность за одинокую могилу молодого безвестного чужестранца родом из Италии, как-то посетившего наши места и игравшего на шарманке.

– И вот теперь каждый Сочельник, – заключил мой дядя, как бы рассекая своим густым, мрачным голосом напряженное мучительное молчание, прокравшееся, точно тень, в комнату и овладевшее всеми нами, – дух этого ужасного грешника появляется в голубой спальне нашего дома. Там, от полуночи и до первых петухов, раздаются дикие вопли и стоны, насмешливый хохот, а временами призрачные звуки ударов. Там он ведет свою ожесточенную призрачную битву с привидениями корнетиста и певца, иногда поддерживаемыми тенями оркестрантов, в то время как дух задуманного арфиста исполняет безумные замогильные мелодии призрачными ногами на призраке сломанной арфы.

Дядя прибавил, что в Сочельник голубая спальня не может быть использована по назначению, – спать там никак

нельзя.

– Тсс! – прошептал дядя, поднимая, в знак предостережения, руку к потолку.

Мы, затаив дыхание, прислушались.

– Тсс! Слышите! Они сейчас как раз там, в *голубой спальне!*

Тогда я встал и сказал, что желаю провести ночь один в голубой спальне.

Но прежде чем я расскажу свою собственную историю, то есть историю того, что произошло в голубой спальне, – мне хотелось бы предложить вам небольшое предисловие, или

Мои личные комментарии

Собираясь приступить к рассказу о моих собственных приключениях с привидениями, я нахожусь в большой нерешительности. Видите ли, это совсем не такого рода история, как те, что я вам рассказывал до сих пор, – вернее, как вам рассказывали Тедди Биффлс, мистер Кумбес и мой дядя. Это истинная история. Это вовсе не то, что обычно рассказывает джентльмен, сидя в Сочельник у камина и попивая пунш с большим количеством виски; это отчет о подлинных событиях.

Да, это вовсе не рассказ в общепринятом значении слова, это именно отчет. И потому, я чувствую, он почти неуместен в такой книге. Он был бы гораздо более кстати в биографическом исследовании или, скажем, в учебнике английской истории.

Есть еще одно обстоятельство, которое затрудняет мое повествование, – оно заключается в том, что речь пойдет обо мне самом. Рассказывая вам эту историю, мне придется все время говорить о себе, что среди нас, современных писателей, совершенно не принято. Если у нас, литераторов нового направления, есть какое-нибудь похвальное стремление, более постоянное, чем все остальные, так это стремление никогда не казаться самовлюбленным.

Я сам, – так меня уверяют, – довожу до крайности эту за-

стенчивость, эту боязливую сдержанность во всем, что касается моей особы, – и читающая публика весьма этим недовольна. Люди приходят ко мне и говорят:

«Ну, послушайте, почему вы не расскажете о себе хоть немножко? Это нас интересует. Напишите что-нибудь о себе».

Но я всегда отвечал: «Нет!»

И не потому, что я считаю эту тему неинтересной. Наоборот, я даже представить себе не могу темы, более захватывающей для всего человечества или, по крайней мере, для его культурной части.

Я не пишу о себе принципиально, – потому что это противоречит истинному искусству и подает дурной пример подрастающему поколению. Другие писатели (их немало), я знаю, делают это, но я ни за что заниматься этим не буду, разве что в исключительных случаях.

При обычных обстоятельствах, следовательно, я бы умолчал об этом происшествии. Я бы сказал самому себе: «Нет! Это талантливый и поучительный рассказ, это необычайный, увлекательный и роковой рассказ, и читатели с удовольствием выслушали бы его, да и мне самому страстно хотелось бы поскорей его рассказать, но он целиком посвящен мне, моей личности, тому, что я говорил, видел и сделал, – и я не могу это описывать. Мой сдержанный характер, моя скромная натура не позволяют говорить о себе так много».

Однако, ввиду необычайности некоторых обстоятельств,

я вынужден, несмотря на всю свою скромность, воспользоваться возможностью рассказать именно о том, что произошло со мной лично.

Как я уже говорил, в нашей семье из-за этой пирушки произошла размолвка, и я за свое участие в событиях, о которых собираюсь рассказать, стал жертвой жестокой несправедливости.

Чтобы возродить мою прежнюю репутацию, рассеять тучи клеветы и измышлений, которыми она была запятнана, — лучше всего, я убежден, дать читателю простое, полное достоинства повествование о неприкрашенных событиях, происшедших со мной, с тем, чтобы каждый мог самостоятельно судить обо всем.

Чистосердечно признаюсь, что главной моей целью является стремление отместить незаслуженные подозрения. Воодушевленный этим побуждением (а я считаю, что это почтенное и дельное побуждение), я нахожу в себе силы преодолеть мое обычное отвращение к разговорам о самом себе и таким образом перехожу к той части повествования, которая называется

Моя собственная история

Я вам уже говорил, что, как только мой дядя закончил свой рассказ, я встал и заявил, что решил провести предстоящую ночь в голубой спальне.

– Ни за что! – вскричал мой дядя, вскакивая с места. – Ты не должен подвергать себя столь смертельной опасности! Кроме того, там не застлана постель.

– Подумаешь, какая важность! – ответил я. – Мне приходилось жить в мебелированных комнатах для молодых джентльменов, и я привык спать в постелях, которые не перестилались годами. Не отговаривайте меня. Я молод, вот уже больше месяца, как ничто не отягощает мою совесть, и духи не причинят мне вреда. Я, может быть, смогу даже оказать на них хорошее влияние, уговорю их успокоиться и разойтись по домам. И помимо всего, мне хочется поглядеть на это представление.

Высказавшись, я снова сел. (Как случилось, что мистер Кумбес очутился в моем кресле, вместо того чтобы быть в другом углу комнаты, где он сидел весь вечер? Почему он, мистер Кумбес, не извинился, когда я сел прямо на него? Почему молодой Биффлс стал изображать моего дядю Джона и требовать, чтобы я целых три минуты тряс его за руку и уверял, что всегда любил его, как родного отца? – эти события до сих пор остаются для меня загадкой.)

Вся компания пробовала отговорить меня от того, что они называли бессмысленной затеей, но я оставался непоколебим и требовал осуществления своих законных прав. Я был «рождественским гостем», а гость в Сочельник спит в комнате с привидениями. Это входит в его роль.

Они сказали, что если у меня такие веские основания, то у них возражений больше нет; они зажгли для меня свечу и в полном составе пошли провожать меня наверх.

Не знаю, был ли я возбужден сознанием, что совершаю благородный поступок, или в меня вселилась сама неустрашимость, но в эту ночь я взлетел по лестнице с необычайной легкостью. Ценой колоссального напряжения воли я задержал себя на площадке верхнего этажа, мне хотелось идти все выше, хоть на крышу. Но с помощью перил я все же укротил свои честолюбивые намерения, пожелал моим спутникам доброй ночи, вошел в спальню и запер за собой дверь.

С самого начала у меня все пошло вкривь и вкось. Не успел я отойти от двери, как моя свеча вывалилась из подсвечника. Сколько раз я ни подбирал ее и ни втыкал в подсвечник, она каждый раз снова выскакивала, – такой скользкой свечки мне еще не попадалось никогда. В конце концов я решил обойтись без подсвечника и зажал свечу в руке, но и тогда она не желала держаться прямо. Тут уж я совсем расвирепел, выбросил ее за окно, разделся и лег в постель в полном мраке.

Я не заснул, и мне вовсе не хотелось спать. Лежа на спине,

я смотрел в потолок и думал о разных вещах. Хорошо, если бы я мог вспомнить хоть что-нибудь из того, что приходило мне в голову в ту ночь: все это было так забавно, что я от души хохотал, и кровать тряслась вместе со мной.

Я лежал таким образом около полчаса и совсем было забыл о призраках, как вдруг, случайно оглядывая комнату, я в первый раз в жизни увидел весьма самоуверенное привидение, сидевшее в кресле у огня, с призрачным глиняным чубуком в руках.

В первую минуту я, как и большинство людей в подобных обстоятельствах, подумал, что сплю и вижу сон. Я приподнялся в постели и протер глаза. Но нет: сквозь его тело я видел спинку кресла. Это было, вне всякого сомнения, настоящее привидение. Оно посмотрело в мою сторону, вынуло тень трубки изо рта и приветливо кивнуло мне головой.

Самым поразительным во всем этом приключении было то, что я не чувствовал ни малейшей тревоги. Скорее наоборот, я был отчасти рад его видеть. У меня появился собеседник.

Я сказал:

– Добрый вечер. Вам не показалось, что сегодня выдался холодный денек?

Он сказал, что сам этого не заметил, но полагает, что я прав.

Несколько секунд мы молчали, а затем, желая облечь свою мысль в наиболее приятную форму, я сказал:

– Вероятно, я имею честь беседовать с духом того джентльмена, у которого произошел несчастный случай с уличным певцом?

Он улыбнулся и ответил, что с моей стороны очень любезно помнить об этом. Один певец – это пустяк, хвастать особенно нечем, но ведь с миру по нитке...

Я был потрясен его ответом, так как предполагал, что услышу вздох раскаяния. Дух же, казалось, наоборот, гордился тем, что произошло. Тут я подумал, что, если он так невозмутимо отнесся к моему намеку на певца, может быть, он не обидится, если я спрошу его и о шарманщике. Меня интересовала судьба этого бедного юноши.

– Правда ли, – спросил я, – что вы причастны к смерти того итальянского подростка, который приехал сюда с шарманкой, исполнявшей шотландские напевы?

Он страшно рассердился.

– Причастен? – вскричал он с негодованием. – Кто осмелился утверждать, что хоть чуточку помогал мне? Я сам, самолично прикончил юнца! Без всякой помощи. Один справился. Пусть кто-нибудь скажет, что я лгу!

Я успокоил его и уверил, что у меня никогда не возникало сомнения в том, что он был подлинным и единственным убийцей шарманщика. Потом я спросил, что он сделал с трупом корнетиста, которого убил.

Он спросил:

– Кто именно из корнетистов вас интересует?

– Ах, так их было несколько? – осведомился я.

Он улыбнулся, слегка кашлянул и сказал, что ему не хотелось бы прослыть хвастуном, но, считая вместе с тромбонистами, их было семеро.

– Боже мой! – воскликнул я. – Так или иначе, но вы немало потрудились на своем веку; это ведь не так просто.

Он сказал, что, может быть, ему не приличествует высказываться по этому поводу, но вряд ли многие из рядовых привидений среднего сословия имеют на своем счету столько неоспоримо полезных дел.

Он сосредоточенно попыхивал своей трубкой в течение нескольких секунд, а я сидел и наблюдал за ним. Насколько я помню, я раньше никогда не видел, как привидение курит трубку, и это меня заинтересовало.

Я спросил, какой сорт табака он предпочитает, и он ответил:

– В большинстве случаев призрак кавендиша ручной резки.

Он объяснил, что призраку каждого человека достается после смерти призрак всего табака, выкуренного им при жизни.

Он сам, например, при жизни выкурил изрядное количество кавендиша, так что теперь вполне обеспечен его призраком.

Я сказал, что эти сведения мне пригодятся, и теперь я постараюсь, пока живу, выкурить как можно больше табака. Я

решил приступить к этому без промедления и сказал, что за компанию закурю трубку, а он ответил:

– Правильно, дружище, закурим.

Я протянул руку к пиджаку, достал из кармана все, что полагается, и зажег трубку.

После этого мы и вовсе перешли на дружескую ногу, и он открыл мне все свои преступления.

Он рассказал, что когда-то жил по соседству с одной молодой девицей, которая училась играть на гитаре, а в доме напротив жил молодой джентльмен, увлекавшийся игрой на контрабасе. Лелея коварные и злобные планы, он познакомил ничего не подозревавших молодых людей и убедил их соединиться и бежать из дому против воли родителей, захватив с собой музыкальные инструменты. Они так и сделали, и еще до истечения медового месяца *она* проломилла ему голову контрабасом, а *он* навсегда изувечил ее, пытаясь запихнуть ей в рот гитару.

Мой новый друг сообщил мне также, что он частенько заманивал разносчиков сдобных булок, надоедавших ему своими выкриками, в темную прихожую и там заталкивал им в горло их изделия, пока они не погибали от удушья. Он уверял, что ему удалось угомонить таким образом восемнадцать крикунов.

Затем он взялся за молодых людей обоего пола, которые на вечеринках декламировали длинные и скучные поэмы, а также за развязных подростков, разгуливающих ночью по

улицам, играя на гармонике. Они не стоили того, чтобы с ними возиться поодиночке, и он собирал их по десять штук вместе и приканчивал с помощью какого-нибудь яда. Ораторов из Гайд-парка и лекторов общества трезвости он запирали по шесть человек в маленькую комнату, оставляя каждому по стакану воды и по кружке для сбора пожертвований. Таким образом он предоставлял им полную возможность заговорить друг друга до смерти.

Слушать его было большим наслаждением.

Я спросил его, когда он ожидает появления остальных духов – певца, кларнетиста и трубачей духового оркестра, о которых упоминал дядя Джон. Он улыбнулся и сказал, что ни один из них больше сюда не придет.

Я спросил:

– Разве не правда, что они каждый год в Сочельник встречаются здесь, чтобы подраться с вами?

Он ответил, что это *было* правдой. В течение двадцати пяти лет они ежегодно собирались здесь и сводили счеты, но больше этого не будет. Он сумел их всех по очереди искромсать, выпотрошить и сделать совершенно непригодными для рождественских выступлений. Последний, кто сегодня еще появился, был дух одного из оркестрантов. С ним он расправился только что, перед самым моим приходом, и выбросил то, что от него осталось, через щель между оконными рамами. Он сказал, что остатки находятся в таком состоянии, что уже никогда больше не смогут называться привидением.

– Но я надеюсь, что вы сами не прекратите свои обычные визиты, – сказал я. – Хозяева дома будут опечалены, если вы перестанете навещать их.

– Ах, право, не могу обещать, – ответил он. – Не вижу в этом большого смысла. Разве что, – любезно добавил он, – если *вы* будете здесь. Если в следующий Сочельник вы будете спать в этой комнате, я приду.

Ваше общество доставило мне большое удовольствие, – продолжал он, – вы не удираете, испуская вопли, когда видите гостя, и ваши волосы не встают дыбом. Вы не можете себе представить, – воскликнул он, – как мне надоели эти встающие дыбом волосы!

Он сказал, что людская трусость донельзя раздражает его. Как раз в этот момент какой-то легкий звук донесся к нам со двора. Он вздрогнул и смертельно почернел.

– Вам худо? – воскликнул я, бросаясь к нему. – Скажите, как вам помочь? Не выпить ли мне немного водки, чтобы вас подкрепил ее дух?

Он не ответил и несколько мгновений напряженно прислушивался, а затем с облегчением вздохнул, и тень вновь заиграла на его щеках.

– Все в порядке, – пробормотал он. – Я боялся, что это петух.

– О, теперь еще слишком рано, – запротестовал я, – еще глубокая ночь.

– Разве это куриное отродье с чем-нибудь считается? – с

горечью возразил он. – Они с одинаковым успехом начинают кукарекать в самой середине ночи, и даже раньше, если могут этим испортить человеку его вечернюю прогулку. Я убежден, что они делают это нарочно.

Он сказал, что один из его друзей, дух человека, убившего агента водопроводной компании, любил появляться в доме, в подвале которого хозяева держали кур, и стоило полицейскому пройти мимо дома и зажечь свой карманный фонарик, как старый петух, в полной уверенности, что взошло солнце, принимался кукарекать словно сумасшедший, и тогда бедный дух должен был исчезать. Случалось, он возвращался к себе уже в час ночи, взбешенный тем, что все его выступление продолжалось не больше часа.

Я согласился, что это действительно несправедливо.

– Ах, в какое нелепое положение мы поставлены, – продолжал он, вне себя от негодования. – Не могу понять, чем руководствовался наш старик, там, наверху, когда придумал этот петушиный сигнал. Сколько раз я ему твердил и повторял: установите определенное время, и каждый из нас будет его придерживаться; скажем, до четырех часов утра летом и до шести утра зимой. Какая прелесть твердое расписание!

– А как вы поступаете, когда вообще поблизости нет петухов? – осведомился я.

Он собирался ответить, но снова вздрогнул и прислушался. На этот раз я сам отчетливо услышал голос петуха, принадлежавшего нашему соседу мистеру Боулсу.

– Ну вот, извольте радоваться, – сказал он, подымаясь и протягивая руку за шляпой. – И приходится мириться, ничего не поделаешь. Интересно, который час все-таки?

Я посмотрел на свои часы и сказал, что половина четвертого.

– Я так и думал, – прошептал он. – Пусть мне только попадется эта гнусная птица: я сверну ей шею.

И он собрался уходить.

– Если бы вы подождали меня минуточку, – сказал я, вскочив с постели, – я бы проводил вас домой.

– Это очень мило с вашей стороны, – поблагодарил он, – но, – и тут он остановился, – мне, право, совестно вытаскивать вас на улицу ночью.

– Какие пустяки, – воскликнул я, – я с удовольствием прогуляюсь!

Я кое-как оделся и захватил зонтик, а он взял меня под руку, и мы вместе вышли на улицу.

У самой калитки палисадника мы встретили Джонса, одного из местных констеблей.

– Добрый вечер, Джонс, – сказал я (в праздники я всегда ощущаю прилив вежливости).

– Добрый вечер, сэр, – ответил он немного грубовато, как мне показалось. – Разрешите спросить, что вы тут делаете?

– Пожалуйста, могу вам сказать, – ответил я, взмахнув зонтиком, – я собираюсь немного проводить моего друга.

Он спросил:

– Какого друга?

– А, да, конечно! – засмеялся я. – Я и забыл. Вам его не видно. Это дух джентльмена, который убил певца. Я провожу его только до угла.

– Гм, на вашем месте, сэр, я бы этого не делал, – сказал Джонс мрачно. – Послушайтесь моего совета, проститесь-ка с вашим другом тут и возвращайтесь домой. Может быть, вам невдомек, что на вас ничего нет, кроме ночной рубашки, ботинок и цилиндра. Где ваши брюки?

Манеры этого человека возмутили меня. Я сказал:

– Джонс, не заставляйте меня писать на вас жалобу. Я вижу, что вы пьяны. Мои брюки там, где им полагается быть: на ногах их хозяина. Я отлично помню, как надевал их.

– Я их не вижу, значит, вы их не надели, – дерзко возразил он.

– Простите, – отчеканил я, – повторяю, я их надел. Полагаю, мне лучше знать, надевал я их или нет.

– Не спорю, – ответил он, – но на этот раз вы, видно, не знаете. Я провожу вас домой, и давайте не будем больше препираться.

В этот момент дядя Джон, которого, очевидно, разбудили наши голоса, открыл парадную дверь, а тетя Мария появилась у окна в ночном чепчике.

Я объяснил им ошибку констебля, разумеется в шутливом тоне, чтобы не навлечь на него неприятности, и обратился к духу, желая, чтобы он подтвердил мои слова.

Увы, он исчез. Он оставил меня, не сказав ни единого слова, даже простого «до свидания». Меня так обидела его черствость, что я разрыдался, и дядя Джон повел меня домой.

Зайдя в свою комнату, я обнаружил, что Джонс был совершенно прав. Я, оказывается, действительно не надел брюк. Они по-прежнему висели на спинке кровати. Очевидно, не желая задерживать гостя, я о них забыл.

Таковы, друзья мои, фактические обстоятельства дела, которые – как скажет каждый доброжелательный и здравомыслящий человек – невозможно истолковать превратно и клеветнически.

Но невозможное все же случилось.

Отдельные личности, – повторяю, отдельные, – оказались неспособными понять простую цепь изложенных мною событий иначе как в ошибочном и оскорбительном свете. На мою репутацию брошена тень, – и кем же? – моими родственниками, людьми одной крови и плоти со мной.

Но я не злопамятен, и лишь для того, чтобы восстановить истину и отместить незаслуженные обвинения, я выпускаю в свет этот отчет о подлинных событиях.